

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://mayakovskyyvladimir.ru/> Приятного чтения!

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский

Облако в штанах
Тетраптих
Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться –
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите –
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона –
хотите –
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.
1
Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрьский.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.

Будет любовь или нет?
Какая –
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.
Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, –
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождевки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, –
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы –
большие,
маленькие,
многие! –
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится, –
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете –
я выхожу замуж».
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,

любовь,
страсть», –
а я одно видел:
вы – Джоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боен, –
а самое страшное
видели –
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую –
«я»
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, –
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают –
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горячее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезненные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!
Обгорелые фигурки слов и чисел

из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, –
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!
2
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»[1].
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!
Я раньше думал –
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак –
пожалуйста!
А оказывается –
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтаются в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликают,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая –
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.
Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxı и костлявые пролетки
грудь испешеходили.
Чохотки плоче.
Город дорогу мраком запер.
И когда –
все-таки! –
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»
Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея –
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется, «борщ».
Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»
А за поэтами –
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!
Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их –
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!
Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне –
шуме фабрики и лаборатории.
Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю –
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!
Слушайте!
Проповедует,
мечась и стенья,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, –
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю –
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымалывать милостей времени!
Мы –
каждый –
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,

который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне –
люди,
и те, что обидели –
вы мне всего дороже и ближе.
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!
Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабресный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю –
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! –
и окровавленную дам, как знамя.
З
Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!
Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.
И –
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк –
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке
взял и сказал:
«Хорошо!»
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»
И эту секунду,
бенгальскую,
громкую,

я ни на что б не выменял,
я ни на...
А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!
Вы,
обеспокоенные мыслью одной –
«изящно пляшу ли», –
смотрите, как развлекаюсь
я –
площадной
сутенер и карточный шулер.
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.
Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.
Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут –
губы вещицы
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкая,
и небые лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе –
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.
Вы думаете –
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!
Выньте, гулящие, руки из брюк –
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук –
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!
Понеделники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела ополшить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника –
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.
На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.
Уже сумашествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите –
небо опять иудит
пригоршню обгрызанных предательством звезд?
Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеив.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!
Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу – глаза круглы, –
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человеческом месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они –
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном Евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает –
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».
Мария,
видишь –
я уже начал сутулиться.
В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, –
перехихикиваться,
что у меня в зубах
– опять! –
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый бульжником труп,
а на седых ресницах –
да! –
на ресницах морозных сосулечек
слезы из глаз –
да! –
из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочились сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.
Мария!
Как в зажившее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.
Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!
Мария!
Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.
Открой!
Больно!
Видишь – натканы
в глаза из дамских шляп булавки!
Пустила.
Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, –
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,

что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, –
«любящие Маяковского!» –
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я –
весь из мяса,
человек весь – тело твое просто прошу,
как просят христиане –
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
Мария – дай!
Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария –
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!
Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердце дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю –
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца –
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.
Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте – знаете –
устроимте карусель

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru

на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, –
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь –
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел, я был им –
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из сервской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, –
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божище.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите –
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.
1914–1915

Хорошо!
Октябрьская поэма.
1
Время –
вещь
необычайно длинная, –
были времена –
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой

лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени – «факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Я хожу,
чтобы, с эту
книгой побыв,
из квартирному
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, –
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
воспевать
никого не найдем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.
2
«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году –
невмоготу.
Врали:
«народ –
свобода,
вперед,
эпоха, заря...» –
и зря.
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю

выдать
к лету? –
Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? –
Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...
Мать их за ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит –
чего
подчиняться
ей?!.
Бей!!»
То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета.
в деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.
Чужие
партии
бросали швырком.
– На что им
сбор
болтунов дался?! –
И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.
До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, –
лилась
и слыла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
– у-у-у!
Сила!
З
Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец

не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапарты
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
свою славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были –
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, –
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывет
над Невским.
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если ж
с безработы
загрустится,
сам
себя
уверенно и быстро
назначает –
то военным,
то юстиции,

то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказав,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его, –
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!.
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу».
Пришит к истории,
пронумерован
и скреплен,
и его
рисуют –
и Бродский и Репин.
4
Петербуржские окна.
Сине и темно.
Город
сном
и покоем скован.
НО
не спит
мадам Кускова.
Любовь
и страсть вернулись к старушке.
Кровать
и мечты
розоватит восток.
Ее
волос
пожелтлые стружки

причудливо
склеил
слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит...
но чувство,
видать, велико.
Ее
утешает
усатая няня,
видавшая виды, –
Пе Эн Милюков.
«Не спится, няня...
Здесь так душно...
Открой окно
да сядь ко мне».
– Кускова,
что с тобой? –
«Мне скушно...
Поговорим о старине».
– О чем, Кускова?
я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц –
и про царей
и про цариц.
И я б,
с моим умишком хилым, –
короновала б
Михаила.
чем брать
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?! –
«Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова...»
– Господь помилуй
и спаси...
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...
Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт... –
«Я не больна.
Я...
знаешь, няня...
влюблена...»
– Дитя мое,
господь с тобою! –
И Милюков
ее
с мольбой

крестил
профессорской рукой.
– Оставь, Кускова,
в наши лета
любить
задаром
смысла нету. –
«Я влюблена». –
шептала
снова
в ушко
профессору
она.
– Сердечный друг,
ты нездорова. –
«Оставь меня,
я влюблена».
– Кускова,
нервы, –
полечись ты... –
«Ах няня,
он такой речистый...
Ах, няня-няня!
няня!
Ах!
Его же ж
носят на руках
А как поет он
про свободу...
Я с ним хочу, –
не с ним,
так в воду».
Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
«Саша! –
Душка!»
Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел усатый нянь:
– В кого?
Да говори ты нараспашку! –
«В Керенского...»
– В какого?
В Сашку? –
И от признания
такого
лицо
расплылось
Милюкова.
От счастья
профессор ожил:
– Ну, это что ж –
одно и то же!
При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши. –
Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?
5
Звякая
шпорами
довоенной выковки,

аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили –
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам, –
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жида
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
это...
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему
– эй,
наваксь
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! –
И конечно –
к матушке,
а он м е н я
к м о е й,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!»
«Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
НО
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы –
Азия-с!
Я даже –
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конечно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.

А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба –
шпионы и агенты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбированном!»
«С этим согласен,
это конечно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который
смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправьсь!
Выздоровь!
Офицерам –
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескартузого,
какого-то
бесштанного
левки?!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи –
повыпускаем
им
потроха...»
И все адъютант
– ха да хи –
Попов
– хи да ха. –
«Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!
Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
...ревосходительство
...ерал Каледин,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство...
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон...»
И все стаканами –
дон и динь,
и шпорами –
динь и дон.
Капитан
упился, как сова.

Челядь
чайники
бесшумно подавала.
А в конце у Лиговки
другие слова
подымались
из подвалов.
«Я,
товарищи, –
из военной бюры.
Кончили заседание –
тока-тока.
Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это –
сто патронов
к винтовкам.
Пока соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.
Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда
направляют
с Гатчины.
Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного.
В сумерках,
тоньше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.
Я
за Лашевичем
беру телефон, –
не задушим,
так нас задушат.
Или
возьму телефон,
или вон
из тела
пролетарскую душу.
С а м
приехал,
в пальтишке рваном, –
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра –
поздно.
Завтра, значит.
Ну, не сдобровать им!
Быть
Керенскому
биту и ободрану!
Уж мы
подымем

с царевой кровати
эту
самую
Александру Федоровну».
б
Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами
как дуют
при капитализме.
За Трицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы..
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший –
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»
Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в СМОЛЬНОМ,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи –

дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холеном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, –
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм».
Но тень
боролась,
спутав лапы, –
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый –
уходил
от испуга,
от нерва.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы..
А Керенский –
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось

это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
в мягких мебелиях
с бронзовыми выкрутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают –
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос-редок.
Шепотом,
знаками.
– Керенский где-то? –
– Он?
За казаками. –
И снова молча
И только
под вечер:
– Где Прокопович? –
– Нет Прокоповича. –
А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,
глядит
неласковая
Авроровых
башен
сталь.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это –
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,

гулка и грозна, –
над Петропавловской
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
– Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! –
Ворвались.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
воду
комнаты полня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями оранной
монархам,
несущим
короны-клады, –
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец –
нежней папаши:
«Ты,
парнишка,
выкладывай
ворованные часы –
часы теперича наши!»
Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забилась
под галстук –
за что им приняться? –
Как будто
топор
навис над затылком.
За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегают

юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
– Сдаваться!
Сдаваться! –
А в двери –
бушлаты,
шинели,
тулупы...
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
– и это будет... –
пели:
– и это есть
наш последний... –
До рассвета
осталось
не больше аршина, –
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
в Смольный».
Умолк пулемет.
Угодил толков.
Умолкнул
пуль
звнящий улей.
Горели,
как звезды,
границы штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь ветрами.
Рельсы

по мосту выспеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже –
при социализме.
7
В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры.
Сумрак
на мир
океан катнул.
Синь.
Над кострами –
бур.
Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.
На воду
сумрак
похож и так –
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
и виденьем кита
туша
Авророва.
Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные –
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
от жары вязка,
с испугу
или со льда,
ладони
держат
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал

огонь на глаза,
на клочок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел –
костры горят –
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотеку в усадьбе».
Уставился Блок –
и Блокова тень
глазеет,
не стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх –
флаг!
Рвань –
встань!

Враг –
ляг!
День –
дрянь!
За хлебом!
За миром!
За волей!
Бери
у буржуев
завод!
Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь –
стар.
В пух,
в прах.
Бей –
бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность
нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!
Тряситесь,
короны,
на лбах!
Жир
ежь
страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах!
Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян –
и вставали села,
содрога воем,
по дороге
топоры крестя.
Но –
жи –
чком
на
месте чик
лю –
то –
го
по –
мещика.
Гос –
по –
дин
по –
мещичек,
со –
би –
райте
вещи-ка!

До –
шло
до поры,
вы –
хо –
ди,
босы,
вос –
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба –
рыни сами.
Тащ
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под –
хо –
ди –
те, орлы!
Будя –
пограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под –
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай, –
пет –
тух милый!
Черт
ему
теперь
родня!
Головы –
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
«Эх, яблочко,
цвета ясного.
Бей
справа
белаво,
слева краснова».
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,

строила в ряды.

8

Холод большой.

Зима здорова.

Но блузы

прилипли к потненьким.

Под блузой коммунисты.

Грузят дрова.

На трудовом субботнике.

Мы не уйдем,

хотя

уйти

имеем

все права.

В н а ш и вагоны,

на н а ш е м пути,

н а ш и

грузим

дрова.

Можно

уйти

часа в два, –

но м ы –

уйдем поздно.

Н а ш и м товарищам

н а ш и дрова

нужны:

товарищи мерзнут.

Работа трудна,

работа

томит.

За нее

никаких копеек.

Но м ы

работаем,

будто м ы

делаем

величайшую эпопею.

Мы будем работать,

все стерпя,

чтоб жизнь,

колеса дней торопя,

бежала

в железном марше

в н а ш и х вагонах,

по н а ш и м степям,

в города

промерзшие

н а ш и.

«Дяденька,

что вы делаете тут?

столько

больших дядей?»

– что?

Социализм:

свободный труд

свободно

сбравшихся людей.

9

Перед нашею

республикой

стоят богатые.

Но как постичь ее?

И вопросам

разнедоуменным

нет числа:

что это

за нация такая

«социалистичья»,
и что это за
«соци –
алистическое отечество»?
«Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали,
кроме хлеба и воды, –
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Т а к о г о отечества
т а к о й дым
разве уж
н а с т о л ь к о приятен?
За что вы
идете,
если велят –
«воюй»?
Можно
быть
разорванным бомбицей,
можно
умереть
за землю за с в о ю,
но как
умирать
за общую?
Приятно
русскому
с русским обняться, –
но у вас
и имя
«Р о с с и я»
утеряно.
Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерна?
Жена,
да квартира,
да счет текущий –
вот это –
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество».
Слушайте,
национальный трутень, –
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,

буден.

10

Политика –
проста.
Как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок,
всей
буржуазной птичке –
пропасть.
Из «сюртэ женераль»,
из «интеллидженс Сервис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели,
на деньги
вербовочного агентства.
В Новороссийск
плывут из Марсея,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с виски,
сыты по-свински.
Киями
вскопаны
воды холодные.
Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх –
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиоматки
на авиоматку
пе –
ре –
пархивают «гидро».
Послал
капитал

капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, –
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица,
бульдोजья
Британия.
Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
– Красным не нравится?
Им
голодно?
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно. –
А кому
на суше
грабить охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
– На море потопим,
на суше
потопаем. –
Чужими
руками
жар гребя,
дым
отечества
пускают
пострелины –
выставляю
впереди
одуроченных
ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.
Могилы копайте,
гроба копите –
Юденича
рати
прут
на Питер.
В обозах
еды вкуснятся,
консервы –
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет

адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехе,
с ним идут
голубые чехи.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым перекопан, –
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сантиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
– Я
иду, мол
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз-одного,
другого –
ррраз, –
кстати,
как дэнди,
и девушку спас. –
леди,
спросите
у мерина сивого –
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как –
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
вытая,
с кладью
страшную
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.
Как офицера
его величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холеные
туго

у горл.
Но...
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!»
На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»!
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы –
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль дэнди».
Посреди
винтовок
и орудий голосяща
Москва –
островком,
и мы на островке.
Мы –
голодные,
мы –
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.
11
Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Везсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку–пчелку
суют
тома шекспири.

Зубами
щелкают, –
картошка –
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
– Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! –
Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь –
и бег, и бой,
и сон,
и тлен –
в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я в
комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.
12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
стоят лесорубы.
Много
дела,
мало
горя им,
фунт
– целый! –
первой категории.
Рубят,
липовый
чай
выкушав.

– Мы
не Филипповы,
мы –
привыкши.
Будет обед,
будет
ужин, –
белых бы
вон
отбить от ворот.
Есть захотелось,
пояс –
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт. –
А
 мимо –
незаменимый.
Стуча
сапогом,
идет за пайком –
Правление
выдало
урюк
и повидло.
Богатые –
ловче,
едят
у Зунделовича.
Ни щей,
ни каш –
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.
Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюде.
Но,
как назло,
есть революция,
а нету
масла.
Они
научные.
Напишут,
вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатолий Васильевича.
Где
хлеб
да мяса,
придут
на час к вам.
Читает
комиссар
мандат Луначарского:
«Так...
сахар...
так...
жирок вам.
Дров...
березовых...»

посуше поленья...
и шубу
широкого
потребленья.
Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор.
Хотите –
берите
головной убор.
Приходит
каждый
с разной блажью.
Берите
пока што
ногу
лошажью!»
Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении –
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
– Куда идешь? –
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный
Полено –
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колени
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю
перочинным.
Нож –
ржа.
Режу.

Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши –
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосуллек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле –
с углей
угорели.
В окно –
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами – сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади
моря,
на юг –
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав –
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,

ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеса, –
но землю,
с которую
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14
Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь
я

дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы –
водники –
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал –
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал –
чтоб глаза
глазели,
нужна

теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол –
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки –
щелки.
Зелень
и ласки
выходили глазки.
Больше
блюда,
смотрят
революцию.
Мне
легше, чем всем, –
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусочек
конский.
Скрип –
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
– Здравствуй, Володя!
– Здравствуй, Оля!
– завтра новогодие –
нет ли
соли? –
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею

солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку –
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не валится –
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно, –
с него
идут
снега,
мягка
снегов,
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.
Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей

ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
я

землю
эту
люблю.
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал, –
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести, –
несут
минуты-вестницы
по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:
– Дожили,
вот вам, –
нету
топлив
брюхам
заводным.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,
из ворот,
из железного зева,
снова
шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.
Вышли
за лес,
вместе
взялись.
Я ли,
вы ли,
откопали,
вырыли.
И снова
поезд
катит
за снежную
скатерть.

Слабеет
тело
без ед
и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
запевай,
и домой можно –
да на руки
положено
пять
обмороженных.
Сегодня
на лестнице,
грязной и тусклой,
копались
обывательские
слухи-свиньи.
Деникин
подходит
к самой,
к тульской,
к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочки хоры.
– Будет...
крупчатая!..
пуды непчатые...
ручки-чай,
сухари,
сахары.
Бли-и-и-зко беленькие,
береги керенки! –
Но город
проснулся,
в плакаты кадрованный, –
это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны –
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончился,
кравав.
Кровь
по ступенькам
стекала на пол,
стыла
с пылью пополам
и снова
на пол

каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
– Заерзали
длинноносые щуки!
Скоро
всех
слопают! –
А потом
топырили
глаза-тарелины
в длинную
фамилий
и званий тропу.
Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.
Лапа
класса
лежит на хищнике –
Лубянская
лапа
Че-ка.
– Замерьте, враги!
Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
Смирно!
У очага! –
Миллионный
класс
вставал за Ильича
против
белого
чудовища клыкастого,
и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
– Нас не трогайте –
мы
цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!
Мы обыватели –
нас обувайте вы,
и мы

уже
за вашу власть. –
А утром
небо –
веча звонница!
Вчерашний
день
виня во лжи,
раскололивали
птицы и солнце:
жив,
жив,
жив,
жив!
И снова дни
чередой заводной
сбегались
и просили.
– Идем
за нами –
«еще одно
усилье».
От боя к труду –
от труда до атак, –
в голоде,
в холоде
и наготе
держали
взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего, –
к таким
относишься иначе.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массажи, –
с такую
землю
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!
16
Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
вышел я
из дверей,
вижу –
они плывут...»
Бегут
по Севастополю

к дымящим пароходам.
За день
подметок стопали,
как за год похода.
На рейде
транспорты
и транспорточки,
драки,
крики,
ругня,
мотня, –
бегут
добровольцы,
задрав порточки, –
чистая публика
и солдатня.
У кого –
канарейка,
у кого –
роялина,
кто со шкафом,
кто
с утюгом.
Кадеты –
на что уж
люди лояльные –
толкались локтями,
крыли матюгом.
Забыли приличие,
бросили моду,
кто –
без юбки,
а кто –
без носков.
Бьет
мужчина
даму
в морду,
солдат
полковника
сбивает с мостков.
Наши заседали,
крыли по трапам.,
кашей
грузился
военный ешелон.
Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.
Глядя
на ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу –
голо.
Лодка
шестивесельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,

на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.
Под пули
в лодку прыгнул...
– Ваше
превосходительство,
грести? –
– Грести! –
Убрали весло.
Мотор
заторкал.
Пошла
весело
к «Алмазу»
моторка.
Пулей
пролетела
штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
далеко,
сзади,
тащились
оторванные
от станка и пахот,
узлов
полтора
накручивая за день.
От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,
плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашние русские.
Впе –
реди
година на године.
Каждого
трясись,
который в каске.
Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.
Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,
и с транспортов
за яхтой
гналось –
«Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи».
Уже
экипажам

оберегаться
пули
шальной
надо.
Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.
Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:
– Ол
райт. –
И ушли
в хвосте отступающих свор, –
орудия на город,
курс на Босфор.
В духовках солнца
горы
жаркое.
Воздух
цветы рассиропили.
Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.
Перебивая
пуль разговор.
знаменами
бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.
Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала,
бессташная,
в дожде-свинце:
«И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у –
ле –
петывая
во винты со все,
как сыпется
с гор
– «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!» –
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
«Врангель
оп –

раки –
нут
в море.
Пленных нет».
Покамест –
точка
и телеграмме
и войне.
Вспомнили –
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зори.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.
17
Хвалить
не заставят
не долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол –
отстроить, умыв.
Я с теми,
кто вышел
строить
и мечь
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды –
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадые,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу –
где сор сегодня гниет,
где только земля простая –
на сажень вижу,
из-под нее
комунны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца
и поворачиваются
к тракторам

крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

18
На девять
сюда
октябрей и маев,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачить,
и кричать
и рычать.

я
здесь
бывал
в барабанах стучащий
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще –
просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
монашьи шельмы.
Ночь –

и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
голого.
Место лобное –
для голов
ужасно неудобное.
И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сияньи,
в яви
в денной...
Стена –
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.
Облил
бульжники
лунный никель,
штыки
от луны
и тверже
и злей,
и,
как нагроможденные книги, –
его
мавзолей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка, –
души
не смущу
мертвизной, –
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают, –
и меня

останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».
И вижу –
Париж
и из окон Дорио...
и Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся,
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась, –
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились, –
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
жизнь,
решающему –
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь –
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».
Кто костями,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти –
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отравы.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами

шуршат в беспокойстве.

– Скажите –

вы здесь?

Скажите –

не сдали?

Идут ли вперед?

Не стоят ли? –

Скажите.

Достроит

комунну

из света и стали

республики

вашей

сегодняшний житель? –

Тише, товарищи, спите...

Ваша,

подросток-страна

с каждой

весной

ослепительней,

крепнет,

сильна и стройна.

И снова

шорох

в пепельной вазе,

лепечут

венки

языками лент:

– А в ихних

черных

Европах и Азиях

боязнь,

дремота и цепи? –

Нет!

В мире

насилия и денег,

тюрем

и петель витья –

ваши

великие тени

ходят,

будя

и ведя.

– А вас

не тянет

всевластная тина?

Чиновность

в мозгах

паутину не свила?

Скажите –

цела?

Скажите –

едина?

Готова ли

к бою

партийная сила? –

Спите,

товарищи, тише...

Кто

ваш покой отберет?

Встанем,

штыки оцетинивши,

с первым

приказом:

«Вперед!»

19

Я

земной шар

чуть не весь
обошел, –
И жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей, –
и того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица –
моя.
Дома –
мои.
Окна
разинув,
стоят магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
«Цены
снижены!
Стала
оперяться
моя
кооперация.
Бьем
грошом.
Очень хорошо.
Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.
Радуюсь я –
это
мой труд
вливается
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой –
в моем
автомобиле
мои
депутаты.
В красное здание
На заседание.
Сидите,
не совете,
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя

милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо.
Очень хорошо.
Надо мною
небо.
Синий
шелк!
Никогда
не было
так
хорошо.
Тучи –
кочки,
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал,
словно дерево, я.
Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
В газету
глаза:
молодцы–венцы.
Буржуйам
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут.
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Что б им подавиться.
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут,
у меня на виду.
Барабану
в бока
бьют
войска.
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
ввозятся, –
идут
краснозвездцы.
Приспособил

к маршу
такт ноги:
вра –
ги
ва –
ши
мо –
и
вра –
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздуха береги.
Пых-дых,
пых –
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка,
вовек чтоб
не смолкла, –
побольше
ситчика
моим
комсомолкам.
Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду –
хах
про –
шел.
Как хо –
рошо!
За городом –
поле.
В полях –
деревеньки.
В деревнях –
крестьяне.
Бороды
веники.
Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр,
работа любя.
Сеют,
пекут,
мне
хлеба.
Доят,
пашут,
ловят рыбицу.
Республика наша
строится,
дыбится.

Другим
странам
по сто.
История –
пастью гроба.
А моя
страна –
подросток, –
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.
1927

Про это
Стоял – вспоминаю.

Был этот блеск.

И это

тогда

называлось Невоем.

Маяковский, «Человек»
ПРО ЧТО – ПРО ЭТО?
В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
– Скреби! –
И калека
с бумаги
срывается в клетоте,

горько строчками в солнце песня рябит.

Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.

Эта тема придет,
прикажет:

– Истина! –

Эта тема придет,
велит:

– Красота! –

И пускай

перекладиной кисти раскистены –
только вальс под нос мурлычешь с креста.

Эта тема азбуку тронет разбегом –
уж на что б, казалось, книга ясна! –
и становится

– А –

недоступней Казбека.

Замутит,

оттянет от хлеба и сна.

Эта тема придет,
вовек не износится,
только скажет:

– Отныне гляди на меня! –

И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знамени.

Это хитрая тема!

Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь

– посмели забыть ее! –

затрясет;

посыпятся души из шкур.

Эта тема ко мне заявила гневная,
приказала:

– Подать
дней удила! –

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,
остальные оттерла

и одна

безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.

Молотобоец!

От сердца к вискам.

Эта тема день истемнила, в темень
колотись – велела – строчками лбов.

Имя

этой

теме:

.....!

I

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

О балладе и о балладах

Немолод очень лад баллад,
но если слова болят
и слова говорят про то, что болят,
молодеет и лад баллад.

Лубянский проезд.

Водопьяный.

Вид
вот.
Вот
фон.
В постели она.
Она лежит.
Он.
На столе телефон.
«Он» и «она» баллада моя.
Не страшно нов я.
Страшно то,
что «он» – это я,
и то, что «она» –
моя.
При чем тюрьма?
Рождество.
Кутерьма.
Без решеток окошки домика!
Это вас не касается.
Говорю – тюрьма.
Стол.
На столе соломинка.
По кабелю пущен номер
Тронул еле – волдырь на теле.
Трубку из рук вон.
Из фабричной марки –
две стрелки яркие
омолниили телефон.
Соседняя комната.
Из соседней
сонно:
– Когда это?
Откуда это живой поросенок? –
Звонок от ожогов уже визжит,
добела раскален аппарат.
Больна она!
Она лежит!
Беги!
Скорей!
Пора!
Мясом дымясь, сжимаю жжение.
Моментально молния телом забежала.
Стиснул миллион вольт напряжения.
Ткнулся губой в телефонное пекло.
Дыры
сверля
в доме,
взрыв
Мясницкую
пашней,
рвя
кабель,
номер
пулей
летел
барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз –
под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
– 67–10!
Соедините! –
В проулок!
Скорей!

Водопьяному в тишь!

Ух!

А то с электричеством станется –
под рождество

на воздух взлетишь

со всей

со своей

телефонной

станцией.

Жил на Мясницкой один старожил.

Сто лет после этого жил –

про это лишь –

сто лет! –

говаривал детям дед.

– Было – суббота...

под воскресенье...

Окорочок...

Хочу, чтоб дешево...

Как вдарит кто-то!..

Землетрясение...

Ноге горячо...

Ходун – подошва!.. –

Не верилось детям,

чтоб так-то

да там-то.

Землетрясение?

Зимой?

У почтамта?!

Телефон бросается на всех

Протиснувшись чудом сквозь тоненький
шнур,

раструба трубки разинув оправу,

погромом звонков грома тишину,

разверг телефон дребезжащую лаву.

Это визжащее,

звенящее это

пальнуло в стены,

старалось взорвать их.

Звончинки

тыщей

от стен

рикошетом

под стулья закатывались

и под кровати.

Об пол с потолка звончище хлопал.

И снова,

звенящий мячище точно,

взлетал к потолку, ударившись об пол,

и сыпало вниз дребезгою звончной.

Стекло за стеклом,

вьюшку за вьюшкой

тянуло

звенеть телефонному в тон.

Тряся

ручончкой

дом-погремушку,

тонул в разливе звонков телефон.

Секундантша

От сна

чуть видно –

точка глаз

иголит щеки жаркие.

Ленясь, кухарка поднялась,

идет,

кряхтя и харкая.

Моченым яблоком она.

Морщият мысли лоб ее.

– Кого?

Владим Владимыч?!

А! –

Пошла, туфлю шлепая.

Идет.

Отмеряет шаги секундантом.

Шаги отдаляются...

Слышатся еле...

Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

Просветление мира

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.

Как были,
рот разинув,

сюда они

смотрят на рождество из рождеств.

Им видима жизнь

от дрязг и до дрязг.

Дом их –

единая будняя тина.

Будто в себя,

в меня смотрясь,

ждали

смертельной любви поединок.

Окаменели сиренные рокоты.

Колес и шагов суматоха не вертит.

Лишь поле дуэли

да время-доктор

с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.

Москва –

за Москвой поля примолкли.

Моря –

за морями горы стройны.

Вселенная

вся

как будто в бинокле,

в огромном бинокле (с другой стороны).

Горизонт распрямился

ровно-ровно.

Тесьма.

Натянут бечевкой тугой.

Край один –

я в моей комнате,

ты в своей комнате – край другой.

А между –

такая,

какая не снится,

какая-то гордая белой обновой,

через вселенную

легла Мясницкая

миниатюрой кости слоновой.

Ясность.

Прозрачайшей ясностью пытка.

В Мясницкой

деталью искуснейшей выточки

кабель

тонюсенький –

ну, просто нитка!

И все

вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!

Трубку наводят.

Надежду

брось.
Два!
Как раз
остановилась,
не дрогнув,
между
моих
мольбой обволокнувших глаз.
Хочется крикнуть медлительной бабе:
– Чего задаетесь?
Стоите Дантесом.
Скорей,
скорей просверлите сквозь кабель
пулей
любого яда и веса. –
Страшнее пуль –
оттуда
сюда вот,
кухаркой оброненное между зевот,
проглоченным кроликом в брюхе удава
по кабелю,
вижу,
слово ползет.
Страшнее слов –
из древнейшей древности,
где самку клыком добывали люди еще,
ползло
из шнура –
скребущейся ревности
времен троглодитских тогдашнее чудище.
А может быть...
Наверное, может!
Никто в телефон не лез и не лезет,
нет никакой троглодичьей рожи.
Сам в телефоне.
Зеркалюсь в железе.
Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
Пойди – эту правильность с Эрфуртской
сверь!
Сквозь первое горе
бессмысленный,
ярый,
мозг поборов,
проскребается зверь.
Что может сделаться с человеком
Красивый вид.
Товарищи!
Взвесьте!
В Париж гастролировать едущий летом,
поэт,
почтенный сотрудник «Известий»,
царапает стул когтем из штиблета.
Вчера человек –
единым махом
клыками свой размедведил вид я!
Косматый.
Шерстью свисает рубаха.
Тоже туда ж!?
В телефоны бабахать!?
К своим пошел!
В моря ледовитые!
Размедвеженье

Медведем,
когда он смертельно сердится,
на телефон
грудь
на врага тяну.

А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
Лакай, темнота!
Не знаю,
плачут ли,
нет медведи,
но если плачут,
то именно так.
То именно так:
без сочувственной фальши
скулят,
заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
задравши морду,
как те,
повыть,
извытаться
и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
Обвал.
Беспокоит.
Винтовки-шишки
не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.
Протекающая комната

Кровать.
Железки.
Барахло одеяло.
Лежит в железках.
Тихо.
Вяло.
Трепет пришел.
Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.
Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
Почему много?
Сам наплакал.
Плакса.
Слякоть.
Неправда –
столько нельзя наплакать.
Чертова ванна!
Вода за диваном.
Под столом,
за шкафом вода.
С дивана,
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин...
Окурочек...
Сам кинул.
Пойти потушить.
Петушится.
Страх.
Куда?
К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.

Размыло все,
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!
Как ветер воеет вдогонку с Ладоги!
Река.
Большая река.
Холодина.
Рябит река.
Я в середине.
Белым медведем
взлез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
за видом вид.
Подо мной подушки лед.
С Ладоги дует.
Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
Лихорадуюсь на льдине-подушке.
Одно ощущение водой не вымыто:
я должен
не то под кроватные дужки,
не то
под мостом проплыть под каким-то.
Были вот так же:
ветер да я.
Эта река!..
Не эта.
Иная.
Нет, не иная!
Было –
стоял.
Было – блестело.
Теперь вспоминаю.
Мысль растет.
Не справлюсь я с нею.
Назад!
Вода не выпустит плот.
Видней и видней...
Ясней и яснее...
Теперь неизбежно...
Он будет!
Он вот!!!
Человек из-за 7-ми лет

Волны устои стальные моят.
Недвижный,
страшный,
упершись в бока
столицы,
в отчаянье созданной мною,
стоит
на своих стоэтажных быках.
Небо воздушными скрепами вышил.
Из вод феерией стали восстал.
Глаза подымаю выше,
выше...
Вон!
Вон –
опершись о перила моста...
Прости, Нева!
Не прощает,

гонит.
Сжался!
Не сжалился бешеный бег,
Он!
Он –
у небес в воспаленном фоне,
прикрученный мною, стоит человек.
Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!
Я слышу
мой,
мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос –
он молит,
он просится:
– Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
Ешь?
Отпускаешь брюшко?
Сам
в ихний быт,
в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!
Не думай! –
Рука наклоняется вниз его.
Грозится
сухой
в подмостную кручу.
– Не думай бежать!
Это я
вызвал.
Найду.
Загоню.
Доконаю.
Замучу!
Там,
в городе,
праздник.
Я слышу гром его.
Так что ж!
Скажи, чтоб явились они.
Постановленье неси исполкомово.
Муку мою конфискуй,
отмени.
Пока
по этой
по Невской
по глуби
спаситель-любовь
не придет ко мне,
скитайся ж и ты,
и тебя не полюбят.
Греби!

Тони меж домовых камней! –
Спасите!
Стой, подушка!
Напрасное тщенье.
Лапой гребу –
плохое весло.
Мост сжимается.
Невским течением
меня несло,
несло и несло.
Уже я далеко.
Я, может быть, за день.
За день
от тени моей с моста.
Но гром его голоса гонится сзади.
В погоне угроз паруса распластал.
– Забыть задумал невский блеск?!
Ее заменишь?!
Некем!
По гроб запомни переплеск,
плескавший в «Человеке». –
Начал кричать.
Разве это осилите?!
Буря басит –
не осилить вовек.
Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
Там
на мосту
на Неве
человек!
II
НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО
фантастическая реальность

Бегут берега –
за видом вид.
Подо мной –
подушка-лед.
Ветром ладожским гребень завит.
Летит
льдышка-плот.
Спасите! – сигналю ракетой слов.
Падаю, качкой добитый.
Речка кончилась –
море росло.
Океан –
большой до обиды.
Спасите!
Спасите!..
Сто раз подряд
реву батареей пушечной.
Внизу
подо мной
растет квадрат,
остров растет подушечный.
Замирает, замирает,
замирает гул.
Глуше, глуше, глуше...
Никаких морей.
Я –
на снегу.
Кругом –
версты суши.
Суша – слово.
Снегами мокра.
Подкинут метельной банде я.
Что за земля?
Какой это край?

Грен –
лап –
люб-ландия?
Боль были

Из облака вызрела лунная дымка,
стену постепенно в тени оттеня.
Парк Петровский.
Бегу.
Ходынка
за мной.
Впереди Тверской простыня.
А-у-у-у!
К Садовой аж выкинул «у»!
Оглоблей
или машиной,
но только
мордой
аршин в снегу.
Пулей слова матерщины.
«От нэпа ослеп?!
Для чего глаза впряжены?!
Эй, ты!
Мать твою разнэп!
Ряженный!»
Ах!
Да ведь
я медведь.
Недоразуменье!
Надо –
проходим,
что я не медведь,
только вышел похожим.
Спаситель

Вон
от заставы
идет человечек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
голову вправила в венчик.
Я уговорю,
чтоб сейчас же,
чтоб в лодке.
Это – спаситель!
Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
венчанный в луне.
Он ближе.
Лицо молодое безусо.
Совсем не Исус.
Нежней.
Юней.
Он ближе стал,
он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
Обмотки и френч.
То сложит руки,
будто молится.
То машет,
будто на митинге речь.
Вата снег.
Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте –
чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
что стой
и грустью ранься!

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskiyvladimir.ru
Расплывайся в процыганенном романсе.
Романс

Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
– Прощайте...
Кончаю...
Прошу не винить...
Ничего не поделаешь

До чего ж
на меня похож!
Ужас.
Но надо ж!
Дернулся к луже.
Залитую курточку стягивать стал.
Ну что ж, товарищ!
Тому еще хуже –
семь лет он вот в это же смотрит с моста.
Напялил еле –
другого калибра.
Никак не намылишься –
зубы стучат.
Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил.
Гляделся в льдину...
бритвой луча...
Почти,
почти такой же самый.
Бегу.
Мозги шевелят адресами.
Во-первых,
на Пресню,
туда,
по задворкам.
Тянет инстинктом семейная норка.
За мной
всероссийские,
теряясь точкой,
сын за сыном,
дочка за дочкой.
Всехные родители

– Володя!
На рождество!
Вот радость!
Радость-то во!.. –
Прихожая тьма.
Электричество комната.
Сразу –
наискось лица родни.
– Володя!

Господи!
Что это?
В чем это?
Ты в красном весь.
Покажи воротник!
– Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье –
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдём.
Не бойтесь –
это совсем недалеко –
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.
– Володя,
родной,
успокойся! –
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
– Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков
Путешествие с мамой

Не вы –
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьёю засеяна.
Смотрите,
мачт корабельных щетина –
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемься в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:
Париж,
Америка,
Бруклинский мост,
Сахара,
и здесь
с негритоской курчавой
лакает семейкой чай негритос.
Сомнете периной
и волю
и камень.
Коммуна –
и то завернется комом.
Столетия

жили своими домками
и нынче зажили своим домкомом!
Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

Вы
под его огнеперым крылом
расставились,
разложили посудины.
Паучьих волос не расчешешь колом.
Исчезни, дом,
родимое место!
Прощайте! –
Отбросил ступеней последок.
– Какое тому поможет семейство?!
Любовь цыплячья!
Любвишка наседок!
Пресненские миражи

Бегу и вижу –
всем в виду
кудринскими вышками
себе навстречу
сам
иду
с подарками под мышками.
Мачт крестами на буре распластан,
корабль кидает балласт за балластом.
Будь проклята,
опустошенная легкость!
Домами оскалила скалы далекость.
Ни люда, ни заставы нет.
Горят снега,
и голо.
И только из-за ставенек
в огне иголки елок.
Ногам вперекор,
тормозами на быстрые
вставали стены, окнами выстроюсь.
По стеклам
тени
фигурками тира
вертелись в окне,
зазывали в квартиры.
С Невы не сводит глаз,
продрог,
стоит и ждет –
помогут.
За первый встречный за порог
закидываю ногу.
В передней пьяный проветривал бредни.
Стрезвел и дернул стремглав из передней.
Зал заливался минуты две:
– Медведь,
медведь,
медведь,
медв-е-е-е-е...
Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми

Потом,
извертясь вопросительным знаком,
хозяин полглаза просунул:
– Однако!
Маяковский!
Хорош медведь! –
Пошел хозяин любезностями медоветь:
– Пожалуйста!
Прошу-с.

Ничего –
я боком.
Нечаянная радость – с, как сказано у Блока.
Жена – Фекла Двидна.
Дочка,
точь-в-точь
в меня, видно –
семнадцать с половиной годочков.
А это...
Вы, кажется, знакомы?! –
Со страха к мышам ушедшие в норы,
из-под кровати полезли партнеры.
Усища –
к стеклам ламповым пыльники –
из-под столов пошли собутыльники.
Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
Весь безлицый парад подсчитать ли?
Идут и идут процессией мирной.
Блестят из бород паутиной квартирной.
Все так и стоит столетья,
как было.
Не бьют –
и не тронулась быта кобыла.
Лишь вместо хранителей духов и фей
ангел-хранитель –
жилец в галифе.
Но самое страшное:
по росту,
по коже
одеждой,
сама походка моя! –
в одном
узнал –
близнецами похожи –
себя самого –
сам
я.
С матрацев,
вздымая постельные тряпки,
клопы, приветствуя, подняли лапки.
Весь самовар рассылся в лучики –
хочет обнять в самоварные ручки.
В точках от мух
веночки
с обоев
венчают голову сами собою.
Взыграли туш ангелочки-горнисты,
пророзовев из иконного глянца.
Исус,
приподняв
венок тернистый,
любезно кланяется.
Маркс,
впряженный в алую рамку,
и то тащил обывательства лямку.
Запели птицы на каждой на жердочке,
герани в ноздри лезут из кадочек.
Как были
сидя сняты
на корточках,
радушно бабушки лезут из карточек.
Раскланялись все,
осклабились враз;
кто басом фразу,
кто в дискант
дьячком.
– С праздничком!
С праздничком!

С праздничком!
С праздничком!
С праз –
нич –
ком! –
Хозяин
то тронет стул,
то дунет,
сам со скатерти крошки вымел.
– Да я не знал!..
Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
Дом...
Со своими...
Бессмысленные просьбы

Мои свои?!
Д-а-а-а –
это особы.
Их ведьма разве сыщет на венике!
Мои свои
с Енисея
да с Оби
идут сейчас,
следят четвереньки.
Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой –
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там...
я брал слова
то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
то вызвоня лирово.
От выгод –
на вечную славу сворачивал,
молил,
грозил,
просил,
агитировал.
– Ведь это для всех...
для самих...
для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» –
ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
Ведь каждому важен...
Не только себе ж –
ведь не личная блажь...
я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь –
и шуба!..
Потом у камина...
там кофе...
курят...
Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать может...
Сказать –
надейся!..
Но чтоб теперь же...

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru

чтоб это серьезно... –
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по столу хлебные мякиши.

Слова об лоб
и в тарелку –
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
– Поооостой...
поооостой...

Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...
Я знаю...

Это на углу Кузнецкого моста.
Пустите!
Ну-кося! –
По углам –
зуд:

– Наззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!

Поесть, попить,
попить, поесть –
и за бб!

Теорию к лешему!

Нэп –
практика.

Налей,
нарежь ему.

Футурист,
налягте-ка! –

Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.

Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.

В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.

А тот стоит –
в перила вбит.

Он ждет,
он верит:

скоро!
я снова лбом,
я снова в быт
вбиваюсь слов напором.

Опять
атакую и вкривь и вкось.

Но странно:
слова проходят насквозь.
Необычайное

стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.

Обои,
стены
блекли...
блекли...

Тонули в серых тонах офортовых.
Со стенки

на город разросшийся
Беклин

Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.

Подавно –
теперь.
И нету проще!
Вон
в лодке,
скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
не то поля –
их шорох тишью стерт весь.
А за морями –
тополя
возносятся в небо мертвость.
Что ж –
ступлю!
И сразу
тополи
сорвались с мест,
пошли,
затопали.
Тополы стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
милиционерами.
Расчетверившись,
белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.
Деваться некуда

Так с топором влезает в сон,
обметят спящелобых –
и сразу
исчезает все,
и видишь только обух.
Так барабаны улиц
в сон
войдут,
и сразу вспомнится,
что вот тоска
и угол вон,
за ним
она –
виновница.
Прикрывши окна ладонью угла,
стекло за стеклом вытягивал с краю.
Вся жизнь
на карты окон легла.
Очко стекла –
и я проиграю.
Арап –
миражей шулер –
по окнам
разметил нагло веселия крап.
Колода стекла
торжеством яркоогним
сияет нагло у ночи из лап.
Как было раньше –
вырасти б,
стихом в окно влететь.
Нет,
никни к стенной сырости.
И стих
и дни не те.
Морозят камни.
Дрожь могил.
И редко ходят веники.
Плевками,
снявши башмаки,
вступаю на ступеньки.

Не молкнет в сердце боль никак,
кует к звену звено.
Вот так,
убив,
Раскольников
пришел звенеть в звонок.
Гостье идет по лестнице...
Ступеньки бросил –
стенкою.
Стараюсь в стенку вплесниться
и слышу –
струны тенькают.
Быть может, села
вот так
невзначай она.
Лишь для гостей,
для широких масс.
А пальцы
сами
в пределе отчаянья
ведут бесшабашье, над горем глумясь.
Друзья

А вороны гости?!
Дверье крыло
раз сто по бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
Полоса
щели.
Голоса
еле:
«Аннушка –
ну и румянушка!»
Пирог...
Печка...
Шубу...
Помогает...
С плечика...
Сглушило слова уанстепным темпом,
и снова слова сквозь темп уанстепа:
«Что это вы так развеселились?
Разве?!»
Слились...
Опять полоса осветила фразу.
Слова непонятны –
особенно сразу.
Слова так
(не то чтоб со зла):
«Один тут сломал ногу,
так вот веселимся, чем бог послал,
танцуем себе понемногу».
Да,
их голоса.
Знакомые выкрики.
Застыл в узнаванье,
расплющился, нем,
фразы крою по выкриков выкройке.
Да –
это они –
они обо мне.
Шелест.
Листают, наверное, ноты.
«Ногу, говорите?
Вот смешно-то!»
И снова
в тостах стаканы исчоканы,

и сыплют стеклянные искры из щек они.

И снова

пьяное:

«Ну и интересно!

Так, говорите, пополам и треснул?»

«Должен огорчить вас, как ни грустно,

не треснул, говорят,

а только хрустнул».

И снова

хлопанье двери и карканье,

и снова танцы, полами исшарканные.

И снова

стен раскаленные степи

под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

Только б не ты

Стою у стенки.

Я не я.

Пусть бредом жизнь смололась.

Но только б, только б не ея

невыносимый голос!

Я день,

я год обыденщине предал,

я сам задыхался от этого бреда.

Он

жизнь дымком квартирошным выел.

Звал:

решишь

с этажей

в мостовые!

Я бегал от зова разинутых окон,

любя убегал.

Пускай однобоко,

пусть лишь стихом,

лишь шагами ночными –

строчишь,

и становятся души строчными,

и любишь стихом,

а в прозе немею.

Ну вот, не могу сказать,

не умею.

Но где, любимая,

где, моя милая,

где

– в песке! –

любви моей изменил я?

Здесь

каждый звук,

чтоб признаться,

чтоб кликнуть.

А только из песни – ни слова не выкинуть.

Вбегу на трель,

на гаммы.

В упор глазами

в цель!

Гордясь двумя ногами,

Ни с места! – крикну. –

Цел! –

Скажу:

– Смотри,

даже здесь, дорогая,

стихами грома обыденщины жуть,

имя любимое оберегая,

тебя

в проклятьях моих

обхожу.

Приди,

разотзовись на стих.

Я, всех оббегав, – тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! –
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сбору себя,
пойду туда.
Секунда –
и шагну.
Шагание стиха

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанию
догадываюсь –
оно над Любаниюю.
По холоду,
по хлопанию дверью
догадываюсь –
оно над Тверьюю.
По шуму –
настежь окна раскинул –
догадываюсь –
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское залил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,
а под ногой
ступени
пошли,
поплыли ходуном,
вздываясь в невской пене.
Ужас дошел.
В мозгу уже весь.
Натягивая нервов строй,
разгуживаясь все и разгуживаясь,
взорвался,
пригвоздил:
– Стой!
Я пришел из-за семи лет,
из-за верст шести ста,
пришел приказать:
Нет!
Пришел повелеть:
Оставь!
Оставь!
Не надо
ни слова,
ни просьбы.
Что толку –
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб землей обезлюбленной
вместе,
чтоб всей
мировой
человечьей гущей.

Семь лет стою,
буду и двести
стоять пригвожденный
этого ждущий.
У лет на мосту
на презренье,
на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять,
стою за всех,
за всех расплачусь,
за всех расплачусь.
Ротонда

Стены в тустепе ломались
на три,
на четверть тона ломались,
на сто...
Я, стариком,
на каком-то Монмартре
лезу –
стотысячный случай –
на стол.
Давно посетителям осточертело.
Знают заранее
все, как по нотам:
буду звать
(новое дело!)
куда-то идти,
спасать кого-то.
В извинение пьяной нагрузки
хозяин гостям объясняет:
– Русский! –
Женщины –
мяса и тряпок вязанки –
смеются,
стащить стараются
за ноги:
«Не пойдем.
Дудки!
Мы – проститутки».
Быть Сены полосе б Невои!
Грядущих лет брызгой
хожу по мгле по Сеновой
всей нынчести изгой.
Саженный,
обсмеянный,
саженный,
битый,
в бульварах
ору через каски военщины;
– Под красное знамя!
Шагайте!
По быту!
Сквозь мозг мужчины!
Сквозь сердце женщины! –
Сегодня
гнали
в особенном раже.
Ну и жара же!
Полусмерть

Надо
немного обветрить лоб.
Пойду,
пойду, куда ни вело б.
Внизу свистят сержанты-трельщики.
Тело

с панели
уносят метельщики.
Рассвет.
Подымаюсь сенскою сенью,
синематографской серой тенью.
Вот –
гимназистом смотрел их
с парты –
мелькают сбоку Франции карты.
Воспоминаний последним током
тащился прощаться
к странам Востока.
Случайная станция

С разлету рванулся –
и стал,
и на мель.
Лохмотья мои зацепились штанами.
Ощупал –
скользко,
луковка точно.
Большое очень.
Испозолочено.
Под луковкой
колоколов завыванье.
Вечер зубцы стенные выкаймил.
На Иване я
Великом.
Вышки кремлевские пиками.
Московские окна
видятся еле.
Весело.
Елками зарождествели.
В ущелья кремлевы волна ударяла:
то песня,
то звона рождественский вал.
С семи холмов,
низвергаясь Дарьялом,
бросала Тереком
праздник
Москва.
Вздывается волос.
Лягушкой тужусь.
Боюсь –
оступлюсь на одну только пядь,
и ЭТОТ
старый
рождественский ужас
меня
по Мясницкой закружит опять.
Повторение пройденного
Руки крестом,
крестом
на вершине,
ловлю равновесие,
страшно машу.
Густеет ночь,
не вижу в аршине.
Луна.
Подо мною
льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы –
руками картонными.
Заметят.
Отсюда виден весь я.
Смотрите –
Кавказ кишит Пинкертонами.

Заметили.
Всем сообщили сигналом.
Любимых,
друзей
человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
идут дуэлянты.
Щетинясь,
щерясь
еще и еще там...
Плюют на ладони.
Ладонями сочными,
руками,
ветром,
нещадно,
без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи –
перчаточных лавок початки,
дамы,
духи развевая паточные,
снимали,
в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
журналы,
зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
Хватай, клевета!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
К чему оскорбленья!
Я только стих,
я только душа.
А снизу:
– Нет!
Ты враг наш столетний.
Один уж такой попался –
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не праздную труса!
Последняя смерть

Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор –
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов –

всему конец.
Дрожи конец тоже.
То, что осталось

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы клочья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звездится.
Глядит
в удивленье небесная звездь –
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звездолетом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум,
Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальней!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.
ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ.....
Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!
Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса – гора Килиманджаро.
Только с карты африканской – Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груди горя
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.

Но дыханием моим,
сердцебиением,
ГОЛОСОМ,
каждым острием вздыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежщенным в звериный лязг,
ежью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно –
всеми порами
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
все.
Все,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
все,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом
даже в нашем
краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
из-за угла
ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь – четырежды омоложенный,
до гроба добраться чтоб.
Где б ни умер,
умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю –
достоин лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь –
смерть есть смерть.
Страшно – не любить,
ужас – не сметь.
За всех – пуля,
за всех – нож.
А мне когда?
А мне-то что ж?
В детстве, может,
на самом дне,
десять найду
сносных дней.
А то, что другим?!
Для меня б этого!
Этого нет.
Видите –
нет его!
Верить бы в загробь!
Легко прогулку пробную.
Стоит

только руку протянуть –
пуля
мигом
в жизнь загробную
начертит гремящий путь.
Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.
Вера

Пусть во что хотите жданья удлинятся –
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется –
вот только с этой рифмой
развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать –
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и прошений,
рассиявшись,
выситя веками
мастерская человечьих воскрешений.
Вот он,
большелобый
тихий химик,
перед опытом наморщил лоб.
Книга –
«Вся земля», –
выискивает имя.
Век двадцатый.
Воскресить кого б?
– Маяковский вот...
Поищем ярче лица –
недостаточно поэт красив. –
Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
– Не листай страницы!
Воскреси!
Надежда

Сердце мне вложи!
Кровищу –
до последних жил.
в череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дожил,
на земле
свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.

что хотите, буду делать даром –
чистить,
мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.
Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть?
Был я весел –
толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?
Нынче
обнажают зубы если,
только чтоб хватить,
чтоб
лязгнуть.
Мало ль что бывает –
тяжесть
или горе...
Позовите!
Пригодится шутка дурья.
Я шарадами гипербол,
аллегорий
буду развлекать,
стихами балагурия.
Я любил...
Не стоит в старом рыться.
Больно?
Пусть...
Живешь и болью дорожась.
Я зверье еще люблю –
у вас
зверинцы
есть?
Пустите к зверю в сторожа.
Я люблю зверье.
Увидишь собачонку –
тут у булочной одна –
сплошная плешь, –
из себя
и то готов достать печенку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!
Любовь

Может,
может быть,
когда-нибудь,
дорожкой зоологических аллей
и она –
она зверей любила –
тоже ступит в сад,
улыбаясь,
вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая –
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я

поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси –
свое дожить хочу!
чтоб не было любви – служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
– Товарищ! –
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, – мать.
1923

Человек
Священнослужителя мира, отпустителя всех грехов, – солнца ладонь на голове моей.
Благочестивейшей из монашествующих – ночи облачение на плечах моих.
Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающих,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпускаеши!»
В ковчеге ночи,
новый Ной,
я жду –
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.
Лучи везде!
Скребут они.
Запели петли утло,
и тихо входят будни
с их шелухою сутолок.
Солнце снова.
Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда,
за земную грязь вы!
Солнце!
Что ж,

своего
глашатая
так и забудешь разве?
Рождество Маяковского
Пусть, науськанные современниками, пишут глупые историки: «Скушной и
неинтересной жизнью жил замечательный поэт».

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.
Так вот и буду
в Летнем саду
пить мой утренний кофе.
В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков[2],
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
– до тошноты одинаков –
день
моего сошествия к вам.
И никто
не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:
«Звезда – мол –
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то черта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!»
Судите:
говорящую рыбешку
выудим нитями невода
и поем,
поем золотую,
воспеваем рыбачью удаль.
Как же
себя мне не петь,
если весь я –
сплошная невидаль,
если каждое движение мое –
огромное,
необъяснимое чудо.
Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
справа налево двигать могу
и слева направо.
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.
Черепу шкатулку вскройте –
сверкнет
драгоценнейший ум.
Есть ли,
чего б не мог я?!
Хотите,

новое выдумать могу
животное?
Будет ходить
двухвостое
или треногое.
Кто целовал меня –
скажет,
есть ли
слаще слюны моей со?ка.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
«О-го-го» могу –
зальется высоко, высоко.
«О-ГО-ГО» могу –
и – охоты поэта сокол –
ГОЛОС
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето
зимы,
воду в вино превращать чтоб мог –
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо – направо свадьбы.
Налево грохнет – дрожат миражи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет
пьяный,
ночами ряжен?
Прачечная.
Прачки.
Много и мокро.
Радоваться, что ли, на мыльные пузыри?
Смотрите,
исчезает стоногий окорок!
Кто это?
Дочери неба и зари?
Булочная.
Булочник.
Булки выпек.
что булочник?
Мукой измусоленный ноль.
И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок.
Он играет.
Все в него влюблено.
Сапожная.
Сапожник.
Прохвост и нищий.
Надо
на сапоги
какие-то головки.
Взглянул –
и в арфы распускаются голенища.
Он в короне.
Он принц.
Веселый и ловкий.
Это я
сердце флагом поднял.
Небывалое чудо двадцатого века!
И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
Жизнь Маяковского
Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и дождей.
Вышли
латы,
золото тенькая.
«Если сердце все,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел июлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!
Хвалился:
«Руки?!»
На ружье ж!
Ласкался днями летними?
Так будешь –
весь! –
колюч, как еж.
Язык оплюйте сплетнями!»
Загнанный в земной загон,
влеку дневное иго я.
А на мозгах
верхом
«Закон»,
на сердце цепь –
«Религия».
Полжизни прошло, теперь не вырвешься.
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари, фонари...
Я в плену.
Нет мне выкупа!
Оковала земля окаянная.
Я бы всех в любви моей выкупал,
да в дома обнесен океан ее!
Кричу...
и чу!
ключи звучат!
Тюремщика гримаса.
Бросает
с острия луча
клочок гнилого мяса.
Под хохотливое
«Ага!»
бреду по бреду жара.
Гремит,
приковано к ногам,
ядро земного шара.
Замкнуло золото ключом
глаза.
Кому слепого весть?
Навек
теперь я
заключен
в бессмысленную повесть!
Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обреченного данника.
Верящие в павлинов
– выдумка Брэма[3]! –
верящие в розы
– измышление досужих ботаников! –
мое
безупречное описание земли
передайте из рода в род.
Рвась из меридианов,
атласа арок,

пенится,
звенит золотоворот
франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.
Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрях,
в ушах звон его липкий:
«Спасите!»
Места нет недоступного стону.
А посередине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветоченного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего –
соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.
Галстук,
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.
Гибнут кругом.
Но, как в небо бурав,
в честь
твоего – сиятельный – сана:
Бр-р-а-во!
Эвива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!
Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка[4]!
Нравится.
От смеха
на брюхе
звенят,
молняются целые цепи брелоков.
Онемелые
стоим
перед делом эллина.
Думаем:
«Кто бы,
где бы,
когда бы?»
А это
им
покойному Фидию велено:
«Хочу,
чтоб из мрамора
пышные бабы».
Четыре часа –
прекрасный повод:
«Рабы,
хочу отобедать заново!»

и бог
– его проворный повар –
из глин
сочиняет мясо фазаново.
Вытянется,
самку в любви олелеяв.
«Хочешь
бесценнейшую из звездного скопа?»
И вот
для него
легион Галилеев
елозит по звездам в глаза телескопов.
Встряывают революции царств тельца,
меняет погонщиков человечесий табун,
но тебя,
некоронованного сердец владельца,
ни один не трогает бунт!
Страсти Маяковского
Слышите?
Слышите лошажье ржанье?
Слышите?
Слышите вопли автомобильи?
Это идут,
идут горожане
выкупаться в Его обилии.
Разлив людей,
Затерся в люд,
расстроенный и хлюпкий.
Хватаюсь за уздцы.
Ловлю
за фалды и за юбки.
Что это?
Ты?
Туда же ведома?!
В святошестве изолгалась!
Как красный фонарь у публичного дома,
кравав
налившийся глаз.
Зачем тебе?
Остановись!
Я знаю радость слаже!
Надменно лес ресниц навис.
Остановись!
Ушла уже...
Там, возносясь над головами, Он.
Череп блестит,
хоть надень его на ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске,
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге
три
из-под бриллианта –
выщетинились волосики.
Вижу – подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам,
шепчут над ними они,
«Флейточкой» называют один,
«Облачком» – другой,
третий – сияньем неведомым
какого-то,
только что
мною творимого имени.
Вознесение Маяковского
Я сам поэт. Детей учите: «Солнце встает над ковылями». С любовного ложа из-за
Его волосиков любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.
Идет за мной,
к воде манит,
ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает
– опять! –
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,
И ей из льдов не выйти!
Вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы идти.
Шагну –
и снова в месте том.
Рванусь –
и снова зря.
Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом
пузатая заря.
Туда!
Мяукал кот.
Коптел, горя,
ночник.
Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!
Повис на палки ног.
Выросли,
спутались мысли,
оленьи
рога.
Плачем марая
пол,
распластался в моленьи
о моем потерянном рае.
Аптекарь!
Аптекарь!
Где
до конца
сердце тоску изноет?
У неба ль бескрайнего в нивах,
в бреде ль Сахар,
у пустынь в помешанном зное
есть приют для ревнивых?
За стенками склянок столько тайн.
Ты знаешь высшие справедливости.
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вынести.
Протягивает.
Череп.
«Яд».
Скрестилась кость на кость.
Кому даешь?
Бессмертен я,

твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем,
и разум запер дверь за ним,
так что ж
– еще! –
нашел во мне,
чтоб ядом быть растерзанным?
Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.
И вдруг я
плавно оплываю прилавок.
Потолок отверзается сам.
Визги.
Шум.
«Над домом висит!»
Над домом вишу.
Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Леса верхи.
Вороньем окаркан.
Мимо!
Студенты!
Вздор
все, что знаем и учим!
Физика, химия и астрономия – чушь.
Вот захотел
и по тучам
лечу ж.
Всюду теперь!
Можно везде мне.
Взбурься, баллад поэтовых тина.
Пойте теперь
о новом – пойте – Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок.
Маяковский в небе
Стоп!
Скидываю на тучу
вещей
и тела усталого
кладь.
Благоприятны места, в которых доселе не был.
Оглядываюсь.
Эта вот
зализанная гладь –
это и есть хваленое небо?
Посмотрим, посмотрим!
Искрило,
сверкало,
блестело,
и
шорох шел –
облако
или
бестелые
тихо скользили.
«Если красавица в любви клянется...»
Здесь,
на небесной тверди
слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю –
ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна – восторг!»
Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла ни одного,
ни чаю,
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад.
Выхожу с другими глазеть,
не пришло ли новых.
«А, и вы!»
Радостно обнял.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович!»
«Здравствуйте, Абрам Васильевич[5]!»
Ну, как кончались?
Ничего?
Удобно ль?»
Хорошие шуточки, а?
Понравилось.
Стал стоять при въезде.
И если
знакомые
являлись, умирав,
сопровождал их,
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров.
Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда
– и миры застынут в лени –
вот сюда
– завертятся шибче и круче.
«Крутните, – просят, –
да так, чтоб вымер мир.
Что им?
Кровью поля поливать?»
Смеюсь горячности.
«Шут с ними!
Пусть поливают,
плевать!»
Главный склад всевозможных лучей.
Место выгоревшие звезды кидать.
Ветхий чертеж
– неизвестно чей –
первый неудавшийся проект кита.
Серьезно.
Занято.
Кто тучи чинит,
кто жар надбавляет солнцу в печи.
Все в страшном порядке,
в покое,
в чине.
Никто не толкается.
Впрочем, и ничем.
Сперва ругались.
«Шатается без дела!»
Я для сердца,
а где у бестелых сердца?!
Предложил им:
«Хотите,
по облаку

телом
развалюсь
и буду всех созерцать».
«Нет, – говорят, – это нам не подходит!»
«Ну, не подходит – как знаете! Мое дело предложить».
Кузни времен вздыхают меха –
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается, громыхая,
страшный оползень годов.
Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.
Стих.
Лучам луны на мели
слег,
волнение снами сморя.
Будто на пляже южном,
только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.
Возвращение Маяковского
1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.
Вставай,
довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распластан, нем?
Бурчу спросонок:
«Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?»
Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.
Сколько их,
веков,
успело уйти,
в дребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути, –
не моя седая развеялась борода ль?
Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь,
туда,
на землю, быстрая!
Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
– Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие весны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминирован.
Поет семья краснощеких и веселых.
Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,
все мне мерещится
близость
какого-то земного облика.
Напрягся,

ищу
меж другими точками
землю.
Вот она!
Въелся.
Моря различаю,
горы в орлином клекоте..
Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.
Раздражает.
Тоже
уоставился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
«На Кавказе,
вероятно, весна».
Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!
Взбубнилась злоба апаша.
Папаша,
мне скушно!
Мне скушно, папаша[6]!
Глупых поэтов небом маните,
вырядились
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь – кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек –
чего вам пачкать?!
И галош не понадобится в грязи земной.
Звезды!
Довольно
мученический плести
венки
земле!
Озакатили красным.
Кто там
крылами
к земле блестит?
Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.
То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.
Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?
Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.
Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти
вижу –
лежат города в них.
Отдельные голоса различает ухо.
Взмахах в ста.

«Здравствуй, старуха!»
Поскользнулся в асфальте.
Встал.
То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.
Голоса:
«Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.
Еще удачно!
Тяжелый хлеб».
И снова
толпа
в поводу у дела,
громогосый катился день ее.
О, есть ли
глотка,
чтоб громче вгудела
– города громче –
в его гудение.
Кто схватит улиц рвущийся вымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копоть?!
По скату экватора
из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув выи,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.
Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то черта вроде,
то богом сияет, за облако канув.
Тише, философы!
Я знаю –
не спорьте –
зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать,
затем, чтоб портить
дни листкам календарным.
Их жалеть!
А меня им жаль?
Сожрали бульвары,
сады,
предместья!
Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.
И сладко чувствовать,
что вот
пред мезью я.
Маяковский – векам
Куда я,
зачем я?
Улицей сотой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.
Глаза пролетают оконные соты,

и тяжко,
и чуждо,
и мерзко в июле им.
Витрины и окна тушит
город.
Устал и сник.
И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.
Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волнении взираю с него я.
Стоял, вспоминаю.
Был этот блеск.
И это
тогда
называлось Невою.
Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остекленелые,
белесые.
Июлю капут.
Обезночел загретый.
Избрелся в шепот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,
то слышится выстрел.
Умолкнет –
и снова.
Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?
И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.
И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,
я думаю – призрак,
он взял, да и ожил.
Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
– одна! –
раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
– снова! –
мое сумасшествие!
Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.

Дома похожи.
Вот так же,
из ниши,
головой кобыльей
вылеп[7].
– Прохожий!
Это улица Жуковского?
Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.
«Она – Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!
Блестящую радость, сердце, вычекань!
Окну
лечу.
Небес привычка.
Высоко.
Глубже ввысь зашел
за этажем этаж.
Завесилась.
Смотрю за шелк –
все то же,
спальня та ж.
Сквозь тысячи лет прошла – и юна.
Лежишь,
волоса луною высиня.
Минута...
и то,
что было – луна,
Его оказалась голая лысина.
Нашел!
Теперь пускай поспят.
Рука,
кинжала жало стиснь!
Крадусь,
приглядываюсь –
и опять!
люблю
и вспять
иду в любви и в жалости.
Доброе утро!
Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» –
«Я Николаев
– инженер.
Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаёте к моей жене?»
Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясаясь уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.
Бегу.
Растерзанной тенью,
большой,
косматый,
несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
«Из сорок второго

куда ее дели?» –
«Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле».
Куда теперь?
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...
Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей –
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.
Последнее
Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церковей
подо мной
затянул
и тянет мир:
«Со святыми упокой!»
1916–1917

Стихотворения

Избранные стихотворения 1893–1930 годов
КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо –
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных
ложек!
Белый,
сшатался с пятого этажа.
Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.
Вознес над суетой столичной одури

строгое –
древних икон –
чело.
На теле твоём – как на смертном одре –
сердце
дни
кончило.
В грубом убийстве не пачкала рук ты. Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».
Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите –
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!
Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»
Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!
Довольно!
Теперь – моей языческой силою! –
дайте
любую
красивую,
юную, –
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!
Око за око!
Севы мести в тысячу крат жизни!
В каждое ухо ввой:
вся земля – каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!
Око за око!
Убьете,
похороните –
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.
Ночью вскочите!
я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутая голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.
Не уйти человеку!
Молитва у рта, –
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.
Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, –
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!
И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им, –
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!
Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий
город.
Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!
Грядущие люди!
Кто вы?
Вот – я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.
ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ
Этот вечер решал –
не в любовники выйти ль нам? –
темно,
никто не увидит нас,
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв –
будьте добры,
отойдите.
отойдите,
будьте добры».
РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин –

фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется –
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адская
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем, одеваем нищ и оголь,
ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конечно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы, –
ходят,
гордо
выпятив груди,

в ручках сплошь
и в значках нагрудных...
Мы их
всех,
конечно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным.
по землям,
покрытым
и снегом
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..»
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин –
фотографией
на белой стене.
СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР
Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, –
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное
небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя –
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром, –
ныл бы,

дрождью объял бы земли одряхлевший
скит.

Я

если всей его мощью
выреву голос огромный –
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи –
о, если б был я
тусклый,
как солнце!

Очень мне надо
Сияньем моим поить
Земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.

В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат –
такой большой
и такой ненужный?

УЖЕ ВТОРОЙ. ДОЛЖНО БЫТЬ, ТЫ ЛЕГЛА...
Уже второй. Должно быть, ты легла.
В ночи Млечпуть серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.

Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.

Ты посмотри, какая в мире тишь.
Ночь обложила небо звездной данью.
В такие вот часы встаешь и говоришь
векам, истории и мирозданию.

Стихотворения 1912–1916 годов
НОЧЬ

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка –
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

УТРО

Угрюмый дождь скосил глаза.

А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов –
перина.

И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги

Но ги –
бель фонарей,
царей
в короне газа,

для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех –
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.
ПОРТ
Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.
из улицы в улицу
у –
лица.
Лица
у
догов
годов
рез –
че.
че –
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» –
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе

вырывает
дымчатой шерсти клоч.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.
А ВЫ МОГЛИ БЫ?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
ВЫВЕСКАМ
Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.
А если веселостью песней
закружат созвездия «Магги» –
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.
Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

Я

1
По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи –
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна –
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражом,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студенья ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков оваян:

ведь это ж дочь твоя –

моя песня

в чулке ажурном

у кофеен!

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.

А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.

Заиграет вечер на гобоях ржавых,

подхожу к окошку,

веря,

что увижу опять

севшую

на дом

тучу.

А у мамы больной

пробегает народа шорохи

от кровати до угла пустого.

Мама знает –

это мысли сумасшедшей ворохи

вылезают из-за крыш завода Шустова.

И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,

окровавит гаснущая рама,

я скажу,

раздвинув басом ветра вой:

«Мама.

Если станет жалко мне

вазы вашей муки,

сбитой каблуками облачного танца, –

кто же изласкает золотые руки,

вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.

Вы прибоя смеха мглистый вал заметили

за тоски хоботом?

А я –

в читальне улиц –

так часто перелистывал гроба том.

Полночь

промокшими пальцами щупала

меня

и забитый забор,

и с каплями ливня на лысине купола

скакал сумасшедший собор.

Я вижу, Христос из иконы бежал,

хитона оветренный край

целовала, плача, слякоть.

Кричу кирпичу,

слов исступленных вонзаю кинжал

в неба распухшего мякоть:

«Солнце!

Отец мой!

Сжался хоть ты и не мучай!

Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою дальней.

Это душа моя

ключьями порванной тучи

в выжженном небе

на ржавом кресте колокольни!

Время!

Хоть ты, хромой богомаз,

лик намалюй мой

в божницу уродца века!

Я одинок, как последний глаз

у идущего к слепым человека!»

ОТ УСТАЛОСТИ

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас – двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней,
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.
Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.
А там, под вывеской, где сельди из Керчи –
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечерующем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз –
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже – скомкав фонарей одеяла –
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

НАТЕ!

Через час отсюда в чистый переулочек
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.
Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озверевает, будет тереться,
ощетинит ножки стоголавая вошь.
А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:
«Будьте добры, причешите мне уши».
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
«Сумасшедший!

Рыжий!» –

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

КОФТА ФАТА

Я сошью себе черные штаны

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по ложенным волосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.
Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
я брошу солнцу, нагло ослабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»
Не потому ли, что небо голубо,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!
Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, –
я цветами нашью их мне на кофту фата!
ПОСЛУШАЙТЕ!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый Вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
А ВСЕ-ТАКИ
Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.
Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.
И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
и побежит по небу с моими стихами под мышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!
Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!»
С неба, изодранного о штыков жала,
слезы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»
Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце – победе.
Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.
Вздувается у площади за ротон рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»
Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.
МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР
По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Письмо

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите –
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма-а-а-ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, –
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:

«Неправда,
я еще могу-с –
хе! –
выбряцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»
Звонок

Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе газет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»
СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО
Скрипка издергалась, упрасывая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон –
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» –
я встал,
шатаюсь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору –
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте –
будем жить вместе!
А?»
Я И НАПОЛЕОН
Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.
Ну?

Кажется – какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?
Ночь пришла.
Хорошая.
Вкрадчивая.
И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?
Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и мелится красными крестами.
Простоволосая церковка бульварному изголовью
припала, – набитый слезами куль, –
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!
Скажите Москве –
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца, –
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!
Тебе,
орущему:
«Разрушу,
разрушу!»,
вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,
я,
сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!
Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце –
солнце Аустерлица!
Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я – Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и – он!
Он раз чуме приблизился тронном,
смелостью смерть поправ, –
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, –
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!
За мной, изъеденные бессонницей!

Выше!
В костер лица!
Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!
Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней. –
помните:
еще одного убила война –
поэта с Большой Пресни!
ВАМ!
Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!
Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, –
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваετε Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

ГИМН СУДЬЕ
По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.
О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.
Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде..
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!
И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи – пара жестянок
мерцает в помойной яме.
Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, –
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!
А возле Перу летали по прерии
птички такие-колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.
И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».
В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru

тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.

А в Перу бесптичье, безлюдье..

Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.

Зря ему дали галеру.

Судьи мешают и птице, и танцу,

и мне, и вам, и Перу.

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи –

люди, птицы, сороконожки,

ощетинив щетину, выперев перья,

с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,

даже заинтересовало трубочиста черного

удивительное, необыкновенное зрелище –

фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.

Не человек, а двуногое бессилие,

с головой, откусанной начисто

трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, –

ах, как букву жалко!

Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр

случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,

но ученому ли думать о пустяковом изъяне?

Он знает отлично написанное у Дарвина,

что мы – лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,

как маленькая гноящаяся ранка,

и спрячется на пыльную полку,

где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.

Окаменелый обломок позапрошлого лета.

И еще на булавке что-то вроде

засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки

опять ослабилось на людские безобразия,

и внизу по тротуарам опять пригостишки

деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,

что растет человек глуп и покорен;

ведь зато он может ежесекундно

извлекать квадратный корень.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится

с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,

к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,

благодарью миноносьюему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,

впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:

«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,

а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему

по ребру по миноносьюему.

Плач и вой морями носится:

овдовела миноносица.

И чего это несносен нам

мир в семействе миноносином?

ГИМН ЗДОРОВЬЮ

Среди тонконогих, жидких кровью,

трудом поворачивая шею бычью,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу!
Чтоб бешеной пляской землю овить,
скучную, как банка консервов,
давайте весенних бабочек ловить
сетью ненужных нервов!

И по камням острым, как глаза ораторов,
красавцы-отцы здоровых томов,
поташим мордами умных психиатров
и бросим за решетки сумасшедших домов!
А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!

ГИМН КРИТИКУ

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.
Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке.
Мать поплакала и назвала его: критик.
Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.
Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.
Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамыши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.
Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
провели на улицу, чтобы вышел в люди.
Много ль человеку нужно? – Клочок –
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пяточок,
обнюхал приятное газетное небо.
И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услышал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.
Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо-ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.
Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.
И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.
Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете – легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.
Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы –
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!
Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в зале совсем потонут зрачки –
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.
Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка –
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.
Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.
Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, –
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.
Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.
А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов –
твоих четыреста тысяч».
ВОТ ТАК Я И СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ
Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой –
взял бы
и все обвыл.
Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она – знакомая.
Хочу.
Чувствую –
не могу по-человечьи.
Что это за безобразия!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы –
клык.
Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»
Провел рукой и – остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаке:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостике
и вьется сзади,
большой, собачий.
Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ошестинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ НЕЛЕПОСТИ
Бросьте!
Конечно, это не смерть.
Чего ей ради ходить по крепости?
Как вам не стыдно верить
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,
выдумал для шума стрельбу и тир,
а сам, по-жабьи присев на вал,
вымаргивается, как из мортир.
Ласков хозяина бас,
просто – похож на пушечный.
И не от газа маска,
а ради шутики игрушечной.
Смотрите!
Небо мерить
выбежала ракета.
Разве так красиво смерть
бежала б в небе паркета!
Ах, не говорите:
«Кровь из раны».
Это-дико!
Просто избранных из бранных
одаривали гвоздикой.
Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то – для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто – не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто –
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

ГИМН ВЗЯТКЕ
Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.
Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.
Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»
Если сверху смотреть – разинешь рот.
И взиграет от радости каждая мышца.
Россия – сверху – прямо огород,
вся наливаются, цветет и пышится.
А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые – коза и зелень.
И нечего доказывать – идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ
Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взяток.
Я, выколачивающий из строчек штаны, –
конечно, как начинающий, не очень часто,
я-еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чиновник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, – думает чиновник, –
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам –
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд – доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно –
Господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!
У старых брюк обшарьте карманы –
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:
Нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу,
чтоб об этом больше никогда не писать.
ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ
Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.
Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, –
все было так подобрано и подогнано,

что волей-неволей ждалось страшное.
Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.
Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после –
крик: «Хоронят умерший смех!» –
из тысячегрудного меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.
И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, –
усопшего смеха седая мать.
К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине – тот –
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.
Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда – если умер – уткнуться ей?
Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики –
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.
И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас – вперед пойти –
весь в похоронном марше.
Размокло лицо, стало – кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,
а если кто смеется – кажется,
что ему разодрали губу.
Эй!
Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.
Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.
Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.
Смотри, какой ты ловкий,
а я –
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.
Как весело, сделав удачный удар,

смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
туда
отправила шпаги логика.
А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спать,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.
И, наконец, ошетинясь, как еж,
с похмелья придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.
Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.
Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
зови на вальс!
Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.
ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли –
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих –
что с них сжулить?
Сколько лет пройдет, узнают пока –
кандидат на сажень городского морга –
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.
Через столько-то, столько-то лет
– словом, не выживу –
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет –
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора разучат до последних йот,
как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молотить о богодьяволе.
Склонится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете –
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.
Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими заметить.
Я – пессимист,
знаю –
вечно
будет курсистка жить на земле.
Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
– а ее богатства пойдите смертьте ей! –
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громяхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече, –
все это – хотите? –
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.
Люди!
Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человечесье слово –
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, –
как же,
найдешь его!
НАДОЕЛО
Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.
За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.
Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.
Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безликого розоватого теста!
хоть бы метка была в уголочке вышита.
Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»
Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый –
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?
Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами
тысячью поцелуев покрою
умную морду трамвая.
В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь –
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?
Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет –
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
ХВОИ
Не надо.
Не просите.
Не будет елки.
Как же
в лес
отпустите папу?
К нему
из-за леса
ядер осколки
протянут,
чтоб взять его,
хищную лапу.
Нельзя.
Сегодня
горящие блески
не будут лежать
под елкой
в вате.
Там –
миллион смертоносных осок,
ужалят,
а раненым ваты не хватит.
Нет.
Не зажгут.
Свечей не будет.
В море
железные чудища лазят.
А с этих чудищ
злые люди
ждут:
не блеснет ли у окон в глазе.
Не говорите.
Глупые речь заводят:
чтоб дед пришел,
чтоб игрушек ворох.
Деда нет.
Дед на заводе.
Завод?
Это тот, кто делает порох.
Не будет музыки.
Рученек
где взять ему?

Не сядет, играя.
Ваш брат
теперь,
безрукий мученик,
идет, сияющий, в воротах рая.
Не плачьте.
Зачем?
Не хмурьте личек.
Не будет –
что же с того!
Скоро
все, в радостном кличе
голоса сплетая,
встретят новое Рождество.
Елка будет.
Да какая –
не обхватишь ствол.
Навесят на елку сиянья разного.
Будет стоять сплошное Рождество.
Так что
даже –
надоест его праздновать.
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА
Стоит император Петр Великий,
думает:
«Запирую на просторе я!» –
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».
Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.
Прохожие стремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеин хвост.
Император,
лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.
И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
– Жует!
Не знает, зачем они.
Древня!
Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.
И вновь император
стоит без скипетра.

Змей.

Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра –
узника,
закованного в собственном городе.
РОССИИ
Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу –
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся –
уйти б,
не кусается ль? –
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» –
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мерзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
ЛИЛИЧКА!
Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната –
глава в крученыховском аде.
Вспомни –
за ЭТИМ ОКНОМ
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще –
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,

хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя –
тяжкая гиря ведь –
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом уморят –
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон –
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.
Стихотворения 1917–1919 годов
БРАТЯ ПИСАТЕЛИ
Очевидно, не привыкну
сидеть в «Бристоле»,
пить чай,
построчно врать я, –
опрокину стаканы,
взлезу на столик.
Слушайте,
литературная братия!
Сидите,
глазенки в чаишко канув.
Вытерся от строчения локоть плюшевый.
Подымите глаза от недопитых стаканов.
От косм освободите уши вы.
Вас,
прилипших
к стене,
к обоям,
милые,
что вас со словом свело?
А знаете,
если не писал,

разбоем
занимался франсуа Виллон.
Вам,
берущим с опаской
и перочинные ножи,
красота великолепнейшего века вверена вам!
Из чего писать вам?
Сегодня
жизнь
в сто крат интересней
у любого помощника присяжного поверенного.
Господа поэты,
неужели не наскучили
пажи,
дворцы,
любовь,
сирени куст вам?
Если
такие, как вы,
творцы –
мне наплевать на всякое искусство.
Лучше лавочку открою.
Пойду на биржу.
Тугими бумажниками растопырю бока.
Пьяной песней
душу выржу
в кабинете кабака.
Под копны волос проникнет ли удар?
Мысль
одна под волосища вложена:
«Причесываться? Зачем же?!
На время не стоит труда,
а вечно
причесанным быть
невозможно».
РЕВОЛЮЦИЯ
Поэтохроника
26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.
27-е.
Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.
Рдел багрян и долог.
8 промозглой казарме
суровый
резвый
молился Волынский полк.
Жестоким
солдатским богом божились
роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жиясь.
Руки в железо сжимались злобой.
Первому же,
приказавшему –
«Стрелять за голод!» –
заткнули пулей орущий рот.
Чье-то – «Смирно!»
Не кончил.
Заколот.
Вырвалась городу буря рот.
9 часов.
На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградю.
Рассвет растет,
сомненьем колет,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
предчувствием страха и радуя.

Окно!
Вижу –
оттуда,
где режется небо
дворцов иззубленной линией,
взлетел,
простерся орел самодержца,
черней, чем раньше,
злей,
орлинее.
Сразу –
люди,
лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
по сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.
И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.
Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»
На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.
Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырычут!
Горе двуглавному!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.
Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.
В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженных барж,
над баррикадами
плывет, громыхая, марсельский марш.
Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.

Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреде мы.
Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!
Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.
Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.
Еще!
О, еще!
О, ярче учи, красноязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!
Смерть двуглавному!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев
Подбитые падают городовые.
Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост
вступают толпы войск.
Скрип содрогает устои и скрепы.
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда! –
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.
Смерть двуглавному!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! – вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»
Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.
Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!

Сла-а-ав-в-ва нам!
Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.
Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.
Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух – наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.
Чья злоба надвое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боен?
Или солнца
одного
на всех мало?!
Или небо над нами мало голубое?!
Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.
Не трусость вопит под шинелью серую,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громовое:
– Верую
величию сердца человеческого! –
Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!
СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ
Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.
Услышит кадет-революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.
Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.
Поднялся однажды пребольший ветер,
в клочья шапочку изорвал на кадете.
И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.
Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.
Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.
К ОТВЕТУ!
Гремит и гремит войны барабан.

Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев –
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?
НАШ МАРШ
Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.
Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие – наши песни.
Наше золото – звенящие голоса.
Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролетным коням.
Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.
Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша – медь литавр.
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ
Били копыта.
Пели будто:

– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. –
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клешить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал!
– Лошадь упала!
– Упала лошадь! –
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...
Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу –
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...
И какая-то общая
звериная тоска
плеча вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте –
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
– старая –
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала ни ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось –
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
ОДА РЕВОЛЮЦИИ
Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!

О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двулика?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля, –
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
– о, будь ты проклята трижды! –
и мое,
поэтово
– о, четырежды славься, благословенная!
ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА
Канителют стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! –
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало –
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
попя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало – построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что – корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!
ПОЭТ РАБОЧИЙ
Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать – кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю –
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб – работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь – рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов – почтенный паче –
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд – гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше – поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца – такие ж моторы.
Душа – такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов –
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

ТОЙ СТОРОНЕ

Мы
не вопль гениальничанья –
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.
Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».
Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.
Орете:
«Пожарных!
Горит Мурильо!»
А мы –
не Корнеля с каким-то Расином –
отца, –
предложи на старье меняться, –
мы
и его
обольем керосином
и в улицы пустим –
для иллюминаций.
Бабушка с дедушкой.
Папа да мама.
Чинопочитанья проклятого тина.
Лачуги рушим.
Возносим дома мы.
А вы нас – «ловить арканом картинок!?»
Мы
не подносим –
«Готово!
На блюде!
Хлебайте сладкое с чайной ложки!»
Клич футуриста:
были б люди –
искусство приложится.
В рядах футуристов пусто.
футуристов возраст – призыв.
Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли –
смотрите! –
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги –
топчите ими –
мы
бросим
себя и свои творенья.

Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бега,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвемся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя, –
мы
все украшенья
расставить заставим –
любите любое!
ЛЕВЫЙ МАРШ
(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!
Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой, –
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем плячиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ
Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звеня в «Интернационале»,

Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
И вдруг
увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской
Поднялся.
Шагает по Европе.
Обедающие не успели окончить обед –
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед –
знамя
«Власть Советов».
Напрасно пухлые руки взмолены, –
не остановить в его неслышном карьере.
Раздавил
и дальше ринулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.
И уже
из лоска
тротуарного глянца
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про Летучего голландца –
голландца революционеров.
А он –
по полям Бельгии,
по рыжим от крови полям,
туда,
где гудит союзное ржанье,
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.
Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстанию в лапы отдана,
рухнула республика,
а он – за Ла-Манш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
А после
пароходы
низко-низко
над океаном Атлантическим видели –
пронесся.
К шахтерам калифорнийским.
Говорят –
огонь из зева выделил.
Сих фактов оценки различна мерка.
Не верили многие,
Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:
– не увлекайтесь Россией, восторженные дети, –
я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому

Я,
Маяковский,
свидетель.
МЫ ИДЕМ
КТО ВЫ?
Мы
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Победители,
шествуем по свету
сквозь рев стариков злючий.
И всем,
кто против,
советуем
следующий вспомнить случай.
Раз
на радугу
кулаком
замахнулся городской:
– чего, мол, меня нарядней и чище! – а радуга
вырвалась
и давай
опять сиять на полицейском кулачище.
Коммунисту ль
распластываться
перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор –
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
Взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок ведра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).
Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего –
живет.
СОВЕТСКАЯ АЗБУКА
А
Антисемит Антанте мил.
Антанта – сборище громил.
Б
Большевики буржуев ищут.
Буржуи мчатся верст за тыщу.
В

Вильсон важнее прочей птицы.

Воткнуть перо бы в ягодицы.

Г

Гольц фон-дер прет на Ригу. Храбрый!

Гуляй, пока не взят за жабры!

Д

Деникин было взял Воронеж.

Дяденька, брось, а то уронишь.

Е

Европой правит Лига наций.

Есть где воришкам разогнаться!

Ж

Железо куй, пока горячее.

Жалеть о прошлом – дело рачье.

З

Земля собой шарообразная,

За Милюкова – сволочь разная.

И

Интеллигент не любит риска.

И красен в меру, как редиска.

К

Корове трудно бегать быстро.

Керенский был премьер-министром.

Л

Лакеи подают на блюде.

Ллойд-Джордж служил и вышел в люди.

М

Меньшевики такие люди –

Мамашу могут проиудить.

Н

На смену вам пора бы. Носке!

Носки мараются от носки.

О

Ох, спекулянту хоть повеситься!

Октябрь идет. Не любит месяца.

П

Попы занялись делом хлебным –

Погромщиков встречать молебном.

Р

Рим – город и стоит на Тибре.

Румыны смотрят, что бы стибрить.

С

Сазонов послан вновь Деникиным.

Сиди послом, пока не выкинем!

Т

Тот свет – буржуям отдых сладкий

Трамваем Б без пересадки!

У

У «правых» лозунг «учредилка».

Ужели жив еще курилка?!

Ф

Фазан красив. Ума ни унции.

Фиуме спьяну взял д'Аннунцио.

Х

Хотят в Москву пробраться Шкуры.

Хохочут утки, гуси, куры.

Ц

Цветы благоухают к ночи.

Царь Николай любил их очень.

Ч

Чалдон на нас шел силой ратной.

Чи не пойдете ли обратно?!!

Ш

Шумел колчак, что пароход.

Шалишь, верховный! Задний ход!

Щ

Щетина украшает борова.

Щенки Антанты лают здорово.

Э

Экватор мучает испарина.
Эсера смой – увидишь барина.

Ю

Юнцы охочи зря приврать.
Юденич хочет Питер брать.

Я

Японцы, всеу белых учите!
Ярмо микадо нам не всучите.
«Окна сатиры Роста» 1919–1920 годов

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

Не хочу я быть советской.

Батюшки!

А хочу я жизни светской.

Матушки!

Походил я в белы страны.

Батюшки!

Мужичков встречают странно.

Матушки!

Побывал у Дутова.

Батюшки!

Отпустили вздутого.

Матушки!

Я к Краснову, у Краснова

Батюшки!

Кулачище – сук сосновый.

Матушки!

Я к Деникину, а он

Батюшки!

Бьет крестьян, как фараон.

Матушки!

Мамонтов-то генерал

Батюшки!

Матершинно наорал.

Матушки!

Я ему: «Все люди братья».

Батюшки!

А он: «И братьев буду драть я».

Матушки!

Я поддался колчаку.

Батюшки!

Своротил со скул щеку.

Матушки!

На Украину махнул.

Батюшки!

Думаю, теперь вздохну.

Матушки!

А Петлюра с Киева

Батюшки!

Уж орет: «Секи его!»

Матушки!

Видно, белый ананас

Батюшки!

Наработан не для нас.

Матушки!

Не пойду я ни к кому,

Батюшки!

Окромя родных Коммун.

Матушки!

ОРУЖИЕ АНТАНТЫ – ДЕНЬГИ...

Оружие Антанты – деньги.

Белогвардейцев оружие – ложь.

Меньшевиков оружие – в спину нож.

Правда,

глаза открытые

и ружья

вот коммунистов оружие.

ЕСЛИ ЖИТЬ ВРАЗБРОД, КАК МАХНОВЦЫ ХОТЯТ...

Если жить вразброд, как махновцы хотят,
буржуазия передушит нас, как котят.
Что единица?

Ерунда единица!

Надо

в партию коммунистическую объединиться.

И буржуи,

какими б ни были ярыми,

побегут

от мощи

миллионных армий.

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩУЮ РЕСПУБЛИКИ

Сья история была

в некоей республике.

Баба на базар плыла,

а у бабы бублики.

Слышит топот близ ее,

музыкою веется:

бить на фронте пановье

мчат красноармейцы.

Кушать хотца одному,

говорит ей: «Тетя,

бублик дай голодному!

Вы ж на фронт нейдете?!

Коль без дела будет рот,

буду слаб, как мощи.

Пан республику сожрет,

если будем тощи».

Баба молвила: «Ни в жисть

не отдам я бублики!

Прочь, служивый! Отвяжись!

Черта ль мне в республике?!»

Шел наш полк и худ и тощ,

паны ж все саженные.

Нас смела Панова мощь

в первом же сражении.

Мчится пан, и лют и яр,

смерть неся рабочим;

к глупой бабе на базар

влез он между прочим.

Видит пан – бела, жирна

баба между публики.

Миг – и съедена она.

И она и бублики.

Посмотри, на площадь выйды –

ни крестьян, ни ситника.

Надо вовремя кормить

красного защитника!

Так кормите ж красных рать!

Хлеб неси без вою,

чтобы хлеб не потерять

вместе с головою!

КРАСНЫЙ ЕЖ

Голой рукою нас не возьмешь.

Товарищи, – все под ружья!

Красная Армия – Красный еж

железная сила содружья.

Рабочий на фабрике, куй, как куешь,

Деникина день сосчитан!

Красная Армия – Красный еж

верная наша защита.

Крестьяне, спокойно сейте рожь,

час колчака сосчитан!

Красная Армия – Красный еж

лучшая наша защита.

Врангель занес на Коммуну нож,

баронов срок сосчитан!

Красная Армия – Красный еж

не выдаст наша защита.
Назад, генералы, нас не возьмешь!
Наземь кидайте оружие.
Красная Армия – Красный еж
железная сила содружья.
КАЖДЫЙ ПРОГУЛ...
Каждый прогул
радость врагу.
А герой труда
для буржуев удар.

ЧАСТУШКИ

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга
как наскипидаренный.
Мчит Пилсудский, пыль столбом,
стон идет от марша.
Разобьется панским лбом
об Коммуну маршал.
В октябре с небес не пух –
снег с небес валится.
Что-то наш Деникин вспух,
стал он криволицый.
Стихотворения 1920–1925 годов
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю –
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях –
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?
Ноги без мозга – вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И земли
сели на оси.
Каждый вопрос – прост.
И выявилось
два
в хаосе
мира
во весь рост.
Один –
животище на животище.
Другой –
непреклонно скалистый –
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.
Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
чьими
трупами

им идти.

Нет места сомненьям и воям.

Долой улитье – «подождем»!

Руки знают,

кого им

крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя,

езде,

где народ испленен,

взрывается

бомбой

имя:

Ленин!

Ленин!

Ленин!

И это –

не стихов вееру

обмахивать юбиляра уют. –

я

в Ленине

мира веру

славлю

и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,

если б

не это пел –

в звездах пятиконечных небо

безмерного свода РКП.

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,

27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,

в июль катилось лето,

была жара,

жара плыла –

на даче было это.

Пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою,

а низ горы –

деревней был,

кривился крыш корою.

А за деревнею –

дыра,

и в ту дыру, наверно,

спускалось солнце каждый раз,

медленно и верно.

А завтра

снова

мир залить

вставало солнце ало.

И день за днем

ужасно злить

меня

вот это

стало.

И так однажды разозлясь,

что в страхе все поблекло,

в упор я крикнул солнцу:

«Слазь!

довольно шляться в пекло!»

Я крикнул солнцу:

«Дармод!

занежен в облака ты,

а тут – не знай ни зим, ни лет,

сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:

«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
что я наделал!
я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать –
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого –
жара с ума сводила,
но я ему –
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, –
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, –
и степенность
забыв,
сичу, разговорись
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! –
А вот идешь –
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты –
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.

А солнце тоже:

«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма –
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь –
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой –
и солнца!
РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА ВЕЗ ВСЯКОГО УМА
Старая, но полезная история

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат!
– Кум сказал, –
а в ем ума –
я-то куму верю, –
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
все
в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
– Ну,
не ври! –
пуд за рупь за двадцать.
– А вина, скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,
просто – равноправие.
Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?
Шел волшебник мимо их.
– На, – сказал он бабе, –

скороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы! –
Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрыхнул ей:
во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский
увидать
флаг
на Ай-Петри.
Разогнавшись с дальних стран,
удержаться силясь,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.
В «Гранд-отеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.
Метрдотель
желанья те
зрит –
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Все в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
– Дайте мне
всю программу разом! –
От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.
Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!
С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.
Отскочил хозяин.
– Нет! –
(Бледность мелом в рожке.)
Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже. –
Завопил хозяин лют:
– Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тута пьют! –
Возопил хозяин в яри:
– Это, тетка, что же!
Этак
каждый пролетарий

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
жрать захочет тоже.
– Будешь знать, как есть и пить! –
все завывали в злости.
Стал хозяин тетку бить,
метрдетель
и гости.
Околоточный
на шум
прибежал из части.
Взвыла баба:
– Ой,
прошу,
защитите, власти! –
Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...
Как полезла
мигом
вся
вспять
из бабы пища.
– Много, – молвит, – благ в Крыму
только для буржуя,
а тебя,
мою куму,
в часть препровожу я. –
Влезла
тетка
в скороход
пред тюремной дверью,
как задала тетка ход –
в Эрэсэфэсэрю.
Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
в том раю
сами побывать ли?!
ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ
Молнию метнула глазами:
«Я видела –
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» –
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила –
то гром мне,
ей-богу, не страшен.
ПОРТСИГАР В ТРАВУ...
Портсигар в траву
ушел на треть.
И как крышка
блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стойвшие со своими морями и горами
перед делом человеческим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
в окружающее с презрением:
– Эх, ты, мол,
природа!
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, – телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, – а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, – удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем – вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам – слава, слава, слава!
О ДРЯНИ
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина,
(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменяв,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.
И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка – 24 тыщи.

Тариф.

Эх,

и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»

А Надя:

«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем

сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.

Рамочка ала.

На «Известиях» лежа, котенок греется.

А из-под потолочка

верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

«Опутали революцию обывательщины нита
Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните – чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

ДВА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫХ СЛУЧАЯ

Ежедневно

как вол жуя,

стараясь за строчки драть, – я

не стану писать про Поволжье:

про ЭТО – страшно врать.

Но я голодал,

и тысяч лучше я

знаю проклятое слово – «голодные!».

Вот два,

не совсем обычные, случая,

на ненависть к голоду самые годные.

Первый – Кто из петербуржцев

забудет 18-й год?

Наддохлым лошадем вороны кружатся.

Лошадь за лошадью падает на лед.

Заколачиваются улицы ровные.

Хвостом виляя,

ка перекрестках

собаки дрессированные

просили милостыню, визжа и лая.

Газетам писать не хватало духу – но это ж передавалось изустно:

старик

удушил

жену-старуху

и ел частями.

Злился – невкусно.

Слухи такие

и мрущим от голода,

и сытым сумели глотки свесть.

Из каждой поры огромного города

росло ненасытное желание есть.

От слухов и голода двигаясь еле,

раз

сам я,

с голодной тоской,

остановился у витрины Эйлерса – цветочный магазин на углу Морской.

Малы – аж не видно! – цветочные точки,

нули ж у цен

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
необъятны длиною!
По булке, должно быть, в любом лепесточке,
И вдруг,
смотрю,
меж витриной и мною – фигурка человечья.
Идет и валится.
У фигурки конская голова.
Идет.
И в собственные ноздри
пальцы
воткнула.
Три или два.
Глаза открытые мухи обсели,
а сбоку
жила из шеи торчала
Из жилы
капли по улицам сеялись
и стыли черно, кровеня сначала.
Смотрел и смотрел на ползущую тень я,
дрожа от сознания невыносимого,
что полуживотное это – виденье! – что это
людей вымирающих символ.
От этого ужаса я – на попятный.
Ищу машинально чернеющий след.
И к туше лошажьей приплелся по пятнам.
Где ж голова?
Головы и нет!
А возле
с каплями крови присохлой,
блестел вершок перочинного ножичка – должно быть,
тот
работал над дохлой
и толстую шею кромсал понемножечко.
Я понял:
не символ,
стихом позолоченный,
людская
реальная тень прошагала.
Быть может,
завтра вот так же точно
я здесь заработаю, скалясь шакалом.
Второй. – Из мелочи выросло в это.
Май стоял.
Позапрошное лето.
Весною ширишь ноздри и рот,
ловя бульваров дыханье липовое.
Я голодал,
и с другими
в черед
встал у бывшей кофейни Филиппова я.
Лет пять, должно быть, не был там,
а память шепчет еле:
«Тогда
в кафе
журчал фонтан
и плавали форели».
Вздуваемый памятью рос аппетит;
какой ни на есть,
но по крайней мере – обед.
Как медленно время летит!
И вот
я втиснут в кафежные двери.
Сидели
с селедкой во рту и в посуде,
в селедке рубахи,
и воздух в селедке.
На черта ж весна,
если с улиц

люди
от лип
сюда влипают все-таки!
Едят,
дрожа от голода голого,
вдыхают радостью душище едкий,
а нищие молят:
подайте головы.
Дерясь, получают селедок обьедки.
Кто б вспомнил народа российского имя,
когда б не бросали хребты им в горсточки?!
Народ бы российский
сегодня же вымер,
когда б не нашлось у селедки косточки.
От мысли от этой
сквозь грызшихся кучку,
громя кулаком по ораве зверьей,
пробился,
схватился,
дернул за ручку – и выбег,
селедкой обмазан – об двери.
Не знаю,
душа пропахла,
рубаха ли,
какими водами дух этот смою?
Полгода
звезды селедкою пахли,
лучи рассыпая гнилой чешуею).
Пускай,
полусытый,
доволен я нынче:
так, может, и кончусь, голод не видя, – к нему я
ненависть в сердце вынянчил,
превыше всего его ненавидя.
Подальше прочую чушь забрось,
когда человека голодом сводит.
Хлеб! – вот это земная ось:
на ней вертеться и нам и свободе.
Пусть бабы баранки на Трубной нижут
и ситный лари Смоленского ломит, – я день и ночь Поволжье вижу,
солону жующее, лежа в соломе.
Трубите ж о голоде в уши Европе!
Делитесь и те, у кого немного!
Крестьяне,
ройте пашен окопы!
Стреляйте в него
мешками налога!
Гоните стихом!
Тесните пьесой!
Вперед врачей целебных взводы!
Давите его дымовую завесой!
В атаку, фабрики!
В ногу, заводы!
А если
воплю голодных не внемлешь, – чужды чужие голод и жажда вам, – он
завтра
нагрянет на наши земли ж
и встанет здесь
за спиною у каждого!
СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ
Сапоги почистить – 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил – и даже неплохой.
Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.
Дернул меня черт
писать один отчет.

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
«Что это такое?» – спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну, что отвечу ей?!
Черт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура,
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к таким числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревим,
рамки арифметики, разумеется, узки –
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае – масштаб общерусский.
«Электрификация?!» – масштаб всероссийский.
«Чистка!» – во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал – сквозь землю
до Вашингтона кабель.
Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь,
Балансируя
– четырехлетний навык! – тащусь меж канавиц,
канав,
канавок.
И то
– на лету вспоминая маму – с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?!
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.
Правдив и свободен мой вещей язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе?!
ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ
Это вам – упитанные баритоны – от Адама

до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромео и Джульетт.
Это вам – пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.
Это вам – прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв – футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам – на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти – лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.
Это вам – пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я – гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам – пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!
Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что – «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»
У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителю, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» – несется вопль по вещам.
Нет дураков,
ждя, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство – такое,
чтобы выволочь республику из грязи.
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:

кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни –
самые важные! –
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». –
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать –
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет –
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» –
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
СВОЛОЧИ!
Гвоздимые строками,
стойте немые!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда

самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь –
за цифрой голой...
Ветер рванулся.
Рванулся и тише...
Снова снегами огреб
тысяче –
миллионнокрыший
волжских селений гроб.
Трубы –
гробовые свечи.
Даже вороны
исчезают,
чуя,
что, дымясь,
тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!.
Помощи не будет!
Отрезаны снегами.
Помощи не будет!
Воздух пуст.
Помощи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.
Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вымеряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!
Вымрите!..
Только одна,
осипшим голосом,
сумасшедшие проклятия метелями меля,
рек,
дорог снеговые волосы
ветром рвя, рыдает земля.
Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!
Сам смотрящий смерть воочию,
еле едящий,
только б не сдох, –
тянет город руку рабочую
горстью сухих крох.
«Хлеба!
Хлебушка!
Хлебца!»
Радио ревет за все границы.
И в ответ
за нелепицей нелепица
сыплется в газетные страницы.

«Лондон.
Банкет.
Присутствие короля и королевы.
Жрущих – не вместишь в раззолоченные
хлевы».
Будьте прокляты!
Пусть
за вашей головою венчанной
из колоний
дикари придут,
питаемые человечиною!
Пусть
горят над королевством
бунтов зарева!
Пусть
столицы ваши
будут выжжены дотла!
Пусть из наследников,
из наследниц варево
варится в коронах – котлах!
«Париж.
Собрались парламентарии.
Доклад о голоде.
Фритиоф Нансен.
С улыбкой слушали.
Будто соловьиные арии.
Будто тенора слушали в модном романсе».
Будьте прокляты!
Пусть
вовсе
вам
не слышать речи человеческой!
Пролетарий французский!
Эй,
стягивай петлю вместо речи
толщ непроходимых шей!
«Вашингтон.
Фермеры,
доевшие,
допившие
до того,
что лебедками поднимают пузы,
в океане
пшеницу
от излишества топившие, –
топят паровозы грузом кукурузы».
Будьте прокляты!
Пусть
ваши улицы
бунтом будут запружены.
Выбрав
место, где более больно,
пусть
по Америке –
по Северной,
по Южной –
гонят
брюх ваших
мячище футбольный!
«Берлин.
Оживает эмиграция.
Банды радуются:
с голодными драться им.
По Берлину,
закручивая усики,
ходят,
хващаются:
– Патриот!

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
Русский!»

Будьте прокляты!
Вечное «вон!» им!
Всех отвращая иудым видом,
французского золота преследуемые звоном,
скитайтесь чужбинами Вечным жидом!
Леса российские,
соберитесь все!
Выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
вечно висел,
под самым небом качался, синий.
«Москва.
Жалоба сборщицы:
в «Ампирах» морщатся
или дадут
тридцатирублевку,
вышедшую из употребления в 1918 году».
Будьте прокляты!
Пусть будет так,
чтоб каждый проглоченный
глоток
желудок жег!
Чтоб ножницами оборачивался бифштекс
сочный,
вспарывая стенки кишок!
Вымрет.
Вымрет 20 миллионов человек!
Именем всех упокоенных тут –
проклятие отныне,
проклятие вовек
от Волги отвернувшим морд толстоту.
Это слово не к жирному пузу,
это слово не к царскому трону, –
в сердце таком
слова ничего не тронут:
трогают их революций штыком.
Вам,
несметной армии частицам малым,
порох мира,
силой чьей,
силой,
брошенной по всем подвалам,
будет взорван
мир несметных богачей!
Вам! Вам! Вам!
Эти слова вот!
Цифрами верстовыми,
вмещающимися едва,
запишите Волгу буржуазии в счет!
Будет день!
Пожар всехсветный,
чистящий и чадный.
Выворачивая богачей палаты,
будьте так же,
так же беспощадны
в этот час расплаты!
БЮРОКРАТИАДА
Прабабушка бюрократизма
Бульвар.
Машина.
Сунь пятак – что-то повертится,
пошипит гадко.
Минуты через две,
приблизительно так,
из машины вылезит трехкопеечная
шоколадка.
Бараны!

Чего разглазелись кучей?!
В магазине и проще,
и дешевле,
и лучше.
Вчерашнее
Черт,
сын его
или евонный брат,
расшутившийся сверх всяких мер,
раздул машину в миллиарды крат
и расставил по всей РСФСР.
С ночи становятся людей тени.
Тяжелая – подъемный мост! – скрипит,
глотает дверь учреждений
извивающийся человеческий хвост.
Дверь разгорожена.
Еще не узка им!
Через решетки канцелярских баррикад,
вырвав пропуск, идет пропускаемый.
Разлилась коридорами человечья река.
(Первый шип – первый вой –
«С очереди сшиб!»)
«Осади без трудовой!»)
– Ищите и обряцете, –
пойди и «ряць» ее! –
которая «входящая»
и которая «исходящая»?!
Обряцут через час – другой.
На рупь бумаги – совсем мало! –
всовывают дрожащей рукой
в пасть входящего журнала.
Колесики завертелись.
От дамы к даме
пошла бумажка, украшаясь номерами.
От дам бумажка перекинулась к секретарше.
Шесть секретарш от младшей до старшей!
До старшей бумажка дошла в обед.
Старшая разошлась.
Потерялся след.
Звезды считать?
Сойдешь с ума!
Инстанций не считаю – плавай сама!
Бумажка плыла, шевелилась еле.
Лениво ворочались машины валы.
В карманы тыкалась,
совалась в портфели,
на полку ставилась,
клалась в столы.
Под грудой таких же
столами коллегий
ждала,
когда подымут ввысь ее,
и вновь
под сукном
в многомесячной неге
дремала в тридцать третьей комиссии.
Бумажное тело сначала толстело.
Потом прибавились клипсы – лапки.
Затем бумага выросла в «дело» –
пошла в огромной синей папке.
Зав ее исписал на славу,
от зава к замзаву вернулась вспять,
замзав подписал,
и обратно
к заву
вернулась на подпись бумага опять.
Без подписи места не сыщем под ней мы,
но вновь

механизм
бумагу волок,
с плеча рассыпая печати и клейма
на каждый
чистый еще
уголок.
И вот,
через какой-нибудь год,
отверз журнал исходящий рот.
И, скрипнув перьями,
выкинул вон
бумаги негодной – на миллион.
Сегодняшнее
Высунув языки,
разинув рты,
носятся нэписты
в рьяни,
в яри...
А посередине
высятся
недоступные форты,
серые крепости советских канцелярий.
С угрозой выдвинув пики – перья,
закованные в бумажные латы,
работали канцеляристы,
когда
в двери
бумажка втиснулась:
«Сокращай штаты!»
Без всякого волнения,
без всякой паники
завертелись колеса канцелярской механики.
Один берет.
Другая берет.
Бумага взад.
Бумага вперед.
По проторенному другими следу
через замзава проплыла к преду.
Пред в коллегию внес вопрос:
«Обсудите!
Аппарат оброс».
Все в коллегии спорили стойко.
Решив вести работу рысью,
немедленно избрали тройку.
Тройка выделила комиссию и подкомиссию.
Комиссию распирала работа.
Комиссия работала до четвертого пота.
Начертили схему:
кружки и линии,
которые красные, которые синие.
Расширив штат сверхштатной сотней,
работали и в праздник и в день субботний.
Согнулись над кипами,
расселись в ряд,
щеголяют выкладками,
цифрами пещрят.
Глотками хриплыми,
ртами пенными
вновь вопрос подымался в пленуме.
Все предлагали умно и трезво:
«Вдвое урезывать!»
«Втрое урезывать!»
Строчил секретарь – от работы в мыле:
постановили – слушали,
слушали – постановили...
Всю ночь,
над машинкой склонившись низко,
резолуции переписывала и переписывала машинистка.

И...
через неделю
забредшие киски
играли листиками из переписки.
Моя резолюция
По-моему,
это
– с другого бочка –
знаменитая сказка про белого бычка.
Конкретное предложение
Я,
как известно,
не делопроизводитель.
Поэт.
Канцелярских способностей у меня нет.
Но, по-моему,
надо
без всякой хитрости
взять за трубу канцелярию
и вытрясти.
Потом
над вытряхнутыми
посидеть в тиши,
выбрать одного и велеть:
«Пиши!»
Только попросить его:
«Ради бога,
пиши, товарищ, не очень много!»
МОЯ РЕЧЬ НА ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Не мне российская делегация вверена,
я – самозванец на конференции Генуэзской.
Дипломатическую вежливость товарища Чичерина
дополню по-моему – просто и резко.
Слушай!
Министерская компанийка!
Нечего заплывшими глазками мерцать.
Сквозь фраки спокойные вижу – паника
трясет лихорадкой ваши сердца.
Неужели
без смеха
думать в силе,
что вы
на конференцию
нас пригласили?
В штыки бросаясь на Перекоп идти,
мятежных склоняя под красное знамя,
трудом сгибаясь в фабричной копоти, –
мы знали – заставим разговаривать с нами.
Не просьбой просителей язык замер,
не нищие, жмурящиеся от господского света, –
мы ехали, осматривая хозяйскими глазами
грядущую
Мировую Федерацию Советов.
Болтают язычишки газетных строк:
«Испытать их сначала...»
Хватили лишку!
Не вы на испытание даете срок –
а мы на время даем передышку.
Лишь первая фабрика взвила дым –
враждой к вам
в рабочих
вспыхнули души.
Слюной ли речей пожары вражды
на конференции
нынче
затушим?!
Долги наши,
каждый медный грош,

считают «Матэны»,
считают «Таймсы».
Считаться хотите?
Давайте!

Что ж!

Посчитаемся!

О вздернутых Врангелем,
о расстрелянном,
о заколотом
память на каждой крымской горе.

Какими пудами

какого золота

оплатите это, господин Пуанкаре?

О вашем колчаке – Урал спросите!

Зверством – аж горы вгонялись в дрожь.

Каким золотом – хватит ли в Сити?! –

оплатите это, господин Ллойд-Джордж?

Вонзите в Волгу ваше зрение:

разве этот

голодный ад,

разве это

мужицкое разорение – не хвост от ваших войн и блокад?

Пусть

кладбищами голодной смерти

каждый из вас протащится сам!

На каком – на железном, что ли, эксперте

не встанут дыбом волоса?

Не защититесь пунктами резолюций – плотин.

Мировая – ночи пальбой веселя – революция будет – и велит:

«Плати

и по этим российским векселям!»

И розовые краснеют мало-помалу.

Тише!

Не дыша!

Слышите

из Берлина

первый шаг

трех Интернационалов?

Растя единство при каждом ударе,

идем.

Прислушайтесь – вздрагивает здание.

Я кончил.

Милостивые государи,

можете продолжать заседание.

ГЕРМАНИЯ

Германия – это тебе!

Это не от Рапалло.

Не наркомвнешторжым я рассчитаю вняю.

Никогда,

никогда язык мой не трепала

комплиментщины официальной болтовня.

Я не спрашивал,

Вильгельму,

Николаю прок ли, – разбираться в дрызгах царственных не мне.

Я

от первых дней

войнищу эту проклял,

плюнул рифмами в лицо войне.

Распустив демократические слюни,
шел Керенский в орудийном гуле.

С теми был я,

кто в июне

отстранял

от вас

нацеленные пули.

И, когда стянув полков ободья,

сжали горла вам французы и британцы,

голос наш

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
взвивался песней о свободе,
руки фронта вытянул брататься.
Сегодня

хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает романнее и романнее.
Я видел – цепенеют верфи на Одере,
я видел – фабрики сковывает тишь.
Пусть, – не верю,
что на смертном одре
лежишь.
Я давно
с себя
лохмотья наций скинул.
Нищая Германия,
позволь
мне,
как немцу,
как собственному сыну,
за тебя твою распеснить боль.
Рабочая песнь

Мы сеем,
мы жнем,
мы куем,
мы прядем,
рабы всемогущих Стиннесов.
Но мы не мертвы.
Мы еще придем.
Мы еще наметим и кинемся.
Обернулась шибером, улыбка на морде, – история стала.
Старая врет.
Мы еще придем.
Мы пройдем из Норденов
сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот.
У них доллары.
Победа дала.
Из унтерденлиндских отелей
ползут,
вгрызают в горло доллар,
пируют на нашем теле.
Терпите, товарищи, расплаты во имя...
За все – за войну,
за после,
за раньше,
со всеми,
с ихними
и со своими
мы рассчитаемся в Красном реванше...
На глотке колено.
Мы – зверьи рычим.
Наш голос судорогой немится...
Мы знаем, под кем,
мы знаем, под чьим
еще подымутся немцы.
Мы
еще
извеселим берлинские улицы.
Красный флаг, – мы заждались – вздымайся и рей!
Красной песне
из окон каждого Шульца
откликайся,
свободный
с Запада
Рейн.
Это тебе дарю, Германия!
Это

не долларов тыщи,
этой песней счета с голодом не свести.
Что ж,
и ты
и я – мы оба нищи, – у меня
это лучшее из всего, что есть.
О ПОЭТАХ
Стихотворение это – одинаково полезно и для редактора
и для поэтов
Всем товарищам по ремеслу:
несколько идей
о «прожигании глаголами сердец
людей».
Что поэзия?!
Пустяк.
Шутка.
А мне от этих шуточек жутко.
Мысленным оком окидывая Федерацию –
готов от боли визжать и драться я.
Во всей округе –
тысяч двадцать поэтов изогнулись в дуги.
От жизни сидячей высохли в жгут.
Изголодались.
С локтями голыми.
Но денно и ночью
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами».
Написал.
Готово.
Спрашивается – прожег?
Прожег!
И сердце и даже бок.
Только поймут ли поэтические стада,
что сердца
сгорают – исключительно со стыда.
Посудите:
сидит какой-нибудь верзила
(мало ли слов в России есть?!).
А он
вытягивает,
как булавку из ила,
пустяк,
который полегше зарифмоплесть.
много ль в языке такой чуши,
чтоб сама
колокольчиком
лезла в уши?!
Выберет...
и опять отчесывает вычески,
чтоб образ был «классический»,
«поэтический».
Вычешут...
и опять кряхтят они:
любят ямбы редактора лающие.
А попробуй
в ямб
пойди и запихни
какое-нибудь слово,
например, «млекопитающее».
Потеют как следует
над большим листом.
А только сбоку
на узеньком клочочке
коротенькие строчки растянулись глистом.
А остальное – одни запятые да точки.
Хороший язык взял да и искрошил,
зря только на обучение тратились гроши.
В редакции

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
поэтов банда такая,
что у редактора хронический разлив желчи.
Банду локтями,
дверями толкают,
курьер орет: «Набилось сволочи!»
Не от мира сего – стоят молча.
Поэту в редкость удачи лучи.
Разве что редактор заталмудится слишком,
и врасплох удастся ему всучить
какую-нибудь
позапрошлогоднюю
залежавшуюся «веснишку».
И, наконец,
выпускающий,
над чушью фыркая,
режет набранное мелким петитнком
и затыкает стихами дырку за дыркой,
на горе родителям и на радость критикам.
И лезут за прибавками наборщик и наборщица.
Оно понятно – набирают и морщатся.
У меня решение одно отлежалось:
помочь людям.
А то жалость!
(Особенно предложение пригodiлось к весне б,
когда стихом зачитывается весь нэп.)
Я не против такой поэзии.
Отнюдь.
Весною тянет на меланхолическую нудь.
Но долой рукоделие!
Что может быть старей
кустарей?!
Как мастер этого дела
(ко мне не прицепитесь)
сообщу вам об универсальном рецепте-с.
(Новость та,
что моими мерами
поэты заменяются редакционными курьерми.)
Рецепт
(Правила простые совсем:
всего – семь.)
1. Берутся классики,
свертываются в трубку
и пропускаются через мясорубку.
2. Что получится, то
откидывают на решето.
3. Откинутое выставляется на вольный дух.
(Смотри, чтоб на «образы» не насело мух!)
4. Просушиваемое перетряхивается еле
(чтоб мягкие знаки чересчур не затвердели).
5. Сушится (чтоб не успело перевечниться)
и сыпется в машину:
обыкновенная перечница.
6. Затем
раскладывается под машиной
липкая бумага
(для ловли мушиной).
7. Теперь просто;
верти ручку,
да смотри, чтоб рифмы не сбились в кучку!
(Чтоб «кровь» к «любовь»,
«тень» ко «дню»,
чтоб шли аккуратненько
одна через одну.)
Полученное вынь и...
готово к употреблению:
к чтению,
к декламиранию,
к пению.

А чтоб поэтов от безработной меланхолии
вылечить,
чтоб их не тянуло портить бумажки,
отобрать их от добрейшего Анатолия
Васильича
и передать
товарищу Семашке.
О «ФИАСКАХ», «АПОГЕЯХ» И ДРУГИХ НЕВЕДОМЫХ ВЕЩАХ
На съезде печати
у товарища Калинина
великолепнейшая мысль в речь вклинена!
«Газетчики,
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной формы.
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте, – как понимается описываемое в газете.
Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
– «Пуанкаре терпит фиаско». – Задумались.
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски»
грамотей Ванюха
чуть не разодрался!
– Слушай, Петь,
с «фиаской» остро держи ухо;
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой –нибудь клячи.
Даже Стиннеса – и то! – прогнал из Рура.
А этого терпит.
Значит, богаче.
Американец, должно.
Понимаешь, дура?! –
С тех пор,
когда самогонщик,
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской,
в уважение к богатству,
скидавая картуз,
его называли – Господином Фиаской.
Последние известия получили красноармейцы.
Сели.
Читают, газетиной вея.
– О французском наступлении в Руре имеется?
– Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея»,
– Товарищ Иванов!
Ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-о-г-е-й? – Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел,
каждое село.
«Эссен есть – Апогея нету!
Деревушка махонькая, должно быть, это.
Верчусь – аж дыру повертел в сапоге я – не могу найти никакого Апогея!»
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец – товарищ Петров взял слово:
– Сказано: до своего дошли.
Ведь не до чужого?!

Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» – нам не надо. –
Чтоб мне не писать, впустую оря,
мораль вывожу тоже:
то, что годится для иностранного словаря,
газете – не гоже.

ПАРИЖ
(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.
Ишелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж – до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня – авто фантастят танец,
вокруг меня – из зверорыбных морд – еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde[8].
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слезкою умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
– Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! – увидят! – луна – гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоуху
шепчу,
жужжу);
– Я разагитировал вещи и здания.
Мы – только согласия вашего ждем.
Башня – хотите возглавить восстание?
Башня – мы
вас выбираем вождем!
Не вам – образцу машинного гения – здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место – место гниения – Париж проститутток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,
метро со мною – они
из своих облицованных нутр
публику выплюют – кровью смоят
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились – не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились – им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня – улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт – грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Бойтесь?

Трактиры заступятся стаями?
Бойтесь?

На помощь придет Рив-гош.
Не бойтесь!

Я уговорился с мостами.

Вплавь

реку

переплыть

не легко ж!

Мосты,

распалясь от движения злого,

подымутся враз с парижских боков.

Мосты забунтуют.

По первому зову – прохожих ссыпят на камень быков.

Все вещи вздыбятся.

Вещам невоготу.

Пройдет

пятнадцать лет

иль двадцать,

обдрябнет сталь,

и сами

вещи

тут

пойдут

Монмартрами на ночи продаваться.

Идемте, башня!

К нам!

Вы – там,

у нас,

нужней!

Идемте к нам!

В блестенье стали,

в дымах – мы встретим вас,

Мы встретим вас нежней,

чем первые любимые любимых.

Идем в Москву!

У нас

в Москве

простор.

Вы

– каждый! – будете по улице иметь.

Мы

будем холить вас;

раз сто

за день

до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть

город ваш,

Париж франтих и дур,

Париж бульварных ротозеев,

кончается один, в сплошной складбищась Лувр,

в старье лесов Булонских и музеев.

Вперед!

Шагни четверкой мощных лап,

прибитых чертежами Эйфеля,

чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,

чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!

Решайтесь, башня, – нынче же вставайте все,

разворотив Париж с верхушки и до низу!

Идемте!

К нам!

К нам, в СССР!

Идемте к нам – я

вам достану визу!

ГАЗЕТНЫЙ ДЕНЬ

Рабочий

утром

глазеет в газету.

Думает:

«Нам бы работешку эту!
Дело тихое, и нету чище.
Не то что по кузницам отмахивать ручища.
Сиди себе в редакции в беленькой сорочке –
и гони строчки.

Нагнал,
расставил запятые да точки,
подписался,
под подпись закорючку,
и готово:

строчки растут как цветочки.
Ручки в брючки,
в стол ручку,
получил построчные –
и, ленивой ивой
склоняясь над кружкой,
дуй пиво».

В искоренение вредного убежденья
вынужден описать газетный день я.
Как будто
весь народ,
который
не поместился под башню Сухареву, –
пришел торговаться в редакционные коридоры.
Тыщи!

Во весь дух ревут.
«Где объявления?
Потеряла собачку я!»
Голосит дамочка, слезками пачкаясь.
«Караул!»

Отчаянные вопли прореяли.

«Миллиард?
С покойничка?
За строку нонпарели?»
Завжилотдел.

Не глаза – жжение.
Каждому сует какие-то опровержения.
Кто-то крестится.

Клянется крещеным лбом:
«Это я – настоящий Бим-Бом!»
Все стены уставлены какими-то дядьями.
Стоят кариатидами по стенкам голым.

Это «начинающие».
Помахивая статьями,
по дороге к редактору стоят частоколом.

Два.

Редактор вплывает барином.

В два с четвертью
из барина,
как из пристяжной,
умученной выездом парным, –
паром вздымается испарина.

Через минуту
из кабинета редакторского рев:
то ручкой по папке,
то по столу бац ею.

Это редактор,
собрав бухгалтеров,
потеет над самоокупацией.

У редактора к передовице лежит сердце.
Забудь!

Про сальдо язычишкой треплет.
У редактора –
аж волос вылезит от коммерции,
лепечет редактор про «кредит и дебет».
Пока редактор завхоза ест –
раз сто телефон вгрызается лаем.

Это ставку учетверяет Мострест.

И еще грозитя:

«Удешатеру в мае».

Наконец, освободился.

Минуточек лишка...

Врывается начинающий.

Попробуй – выставь!

«Прочтите немедля!

Замечательная статьяшка»,

а в статьяшке –

листов триста!

Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.

Хроникер врывается:

«Там,

в Замоскворечье, –

выловлен из Москвы-реки –

живой гиппопотам!»

Из РОСТА

на редактора

начинает литься

сенсация за сенсацией,

за небылицей небылица.

Нет у РОСТА лучшей радости,

чем всучить редактору невероятнейшей гадости.

Извергая старательность, как Везувий и Этна,

курьер врывается.

«К редактору!

Лично!»

В пакете

с надписью:

– Совершенно секретно –

повестка

на прошлогоднее заседание публичное.

Затем курьер,

красный, как малина,

от НКВД.

Кроет рьяно.

Передовик

президента Чжан Цзо-лина

спутал с гаолянном.

Наконец, библиограф!

Что бешеный вол.

Машет книжкой.

Выражается резко.

Получил на рецензию

юрист –

хохол –

учебник гинекологии

на древнееврейском!

Вокруг

за столами

или перьев скрежет,

или ножницы скрипят:

писателей режут.

Секретарь

у фельетониста,

пропотевшего до сорочки,

делает из пятисот –

полторы строчки.

Под утро стихает редакционный раж.

Редактор в восторге,

Уехал.

Улажено.

Но тут...

Самогоном упился метранпаж,

лишь свистят под ротационкой ноздри метранпажины.

Спит редактор.

Снится: Мострест

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
так высоко взвинтил ставки –
что на колокольню Ивана Великого влез
и хохочет с колокольной главки.
Просыпается.
До утра проспал без просыпа.
Ручонки дрожат.
Газету откроют.
Ужас!
Не газета, а оспа.
Шрифт по статьям расплылся икрою.
Из всей газеты,
как из моря риф,
выглядывает лишь –
парочка чьих-то рифм.
Вид у редактора...
такой вид его,
что видно сразу –
нечему завидовать.
Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетный лист, –
умозаключайте смело:
или редактор,
или журналист.
МЫ НЕ ВЕРИМ!
Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраничный
грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.
Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.
Нет!
Нет!
Не-е-т...
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!
ТРЕСТЫ
В Москве
редкое место – без вывески того или иного треста.
Сто очков любому вперед дадут – у кого семейное счастье худо.
Тресты живут в любви,
в ладу
и супружески строятся друг против друга.
Говорят:

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
меж трестами неурядицы, – Ложь!
Треста
с трестом
водой не разольешь.
На одной улице в Москве
есть
(а может нет)
такое место:
стоит себе тихо «хвостотрест»,
а напротив – вывеска «копытотреста».
Меж трестами
через улицу,
в служении лют,
весь день суетится чиновный люд.
Я теперь хозяйством обзавожусь немножко.
(Купил уже вилки и ложки.)
Только вот что:
беспокоит всякая крошка.
После обеда
на клеенке – сплошные крошки.
Решил купить,
так или иначе,
для смахивания крошек
хвост телячий.
Я не спекулянт – из поэтического теста.
С достоинством влазю в дверь «хвостотреста».
Народищу – уйма.
Просто неопишимо.
Стоят и сидят
толпами и гущами.
Хлопают и хлопают дверные створки.
Коридор – до того забит торгующими,
что его
не прочистишь цистерной касторки.
Отчаявшись пробиться без указующих фраз,
спрашиваю:
– Где здесь на хвосты ордера? – У вопрошаемого
удивление на морде.
– Хотите, – говорит, – на копыто ордер? –
Я к другому – невозмутимо, как день вешний:
– Где здесь хвостики?
– Извините, – говорит, – я не здешний, –
Подхожу к третьему
(интеллигентный быдто) – а он и не слушает:
– Угодно – с копыто?
– Да ну вас с вашими копытами к маме,
подать мне сюда заведующего хвостами! –
Врываюсь в канцелярию:
пусто, как в пустыне,
только чей-то чай на столике стынет.
Под вывеской – «без доклада не лезьте»
читаю:
«Заведующий принимает в «копытотресте». – Взбесился.
Выбежал.
Во весь рот
гаркнул:
– Где из «хвостотреста» народ? –
Сразу завопило человек двести:
– Не знает.
Бедненький!
Они посредничают в «копытотресте»,
а мы в «хвостотресте»,
по копыту посредники.
Если вам по хвостам – идите туда:
они там.
Перейдите напротив
– тут мелко – спросите заведующего
и готово – сделка.

Хвост через улицу перепрут рысыв
только 100 процентов с хвоста – за комиссию. – Я
способ прекрасный для борьбы им выискал:
как-нибудь
в единый мах – с треста на трест перевесить вывески,
и готово:
все на своих местах.
А чтоб те или иные мошенники
с треста на трест не перелетели птичкой,
посредников на цепочки,
к цепочке ошейники,
а на ошейнике – фамилия
и трестова кличка.

17 АПРЕЛЯ

Мы

о царском плене
забыли за 5 лет.

Но тех,
за нас убитых на Лене,
никогда не забудем.

Нет!

Россия вздрогнула от гнева злобного,
когда

через тайгу

до нас

от ленского места лобного –
донесся расстрела гул.

Легли,

легли Октября буревестники,

глядели Сибири снега:

их,

безоружных,

под пуль песенки

топтала жандарма нога.

И когда

фабрикантище ловкий

золотые

горстьми загребал,

липла

с каждой

с пятирублевки

кровь

упрятанных тундрам в гроба.

Но напрасно старался Терещенко

смыть

восставших

с лица рудника.

Эти

первые в троне трещинки

не залижет никто.

Никак.

Разгуделась весть о расстреле,

и до нынче

гудит заряд,

по российскому небу расстрелясь,

Октябрем разгорелась заря.

Нынче

с золота смыты пятна.

Наши

тыщи сияющих жил.

Наше золото.

Взяли обратно.

Приказали:

– Рабочим служи! –

Мы

сомкнулись красными ротами.

Быстра шагов краснофлагих гряда.

Никакой не посмеет ротмистр

сыпать пули по нашим рядам.
Нынче
течем мы.
Красная лава.
Песня над лавой
свободная пенится.
Первая
наша
благодарная слава
вам, Ленцы!
ВЕСЕННИЙ ВОПРОС
Страшное у меня горе.
Вероятно –
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната –
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря –
совершенно не из-за чего беспокоиться
Если подойти серьезно –
так-то оно так.
Солнце посветит –
и пройдет мимо.
А вот попробуй –
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это –
просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах...
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?
И за шиворот
и по носу каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически –
куда хочешь идти можно,
но фактически –
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон – большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искрапили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились –

нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать –
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот –
смотрят рассеянно.
Наблюдают –
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, –
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого –
можно выбрать дешевле,
проще.
Например!
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Мне
надоели ноты –
много больно пишут что-то.
Предлагаю
без лишних фраз
универсальный ответ –
всем зараз.
Если
нас
войка тот или иной
захочет
спровоцировать войной, –
наш ответ:
нет!
А если
даже в мордобойном вопросе
руку протянут –
на конференцию, мол, просим, –
всегда
ответ:

да!
Если
держава
та или другая
ультиматумами пугает, –
наш ответ:
нет!
А если,
не пугая ультимативным видом,
просят:
– Заплатим друг другу по обидам, –
всегда
ответ:
да!
Если
концессией
или чем прочим
хотят
на шею насесть рабочим, –
наш ответ:
нет!
А если
взаимно,
вскрыв мошну тугую,
предлагают:
– Давайте
честно поторгуем! –
всегда
ответ:
да!
Если
хочется
сунуть рыло им
в то,
кого судим,
кого милуем, –
наш ответ:
нет!
Если
просто
попросят
одолжения ради –
простите такого-то –
дурак-дядя, –
всегда
ответ:
да!
Керзон,
Пуанкаре,
и еще кто там?!
Каждый из вас
пусть не поленится
и, прежде
чем испускать зряшние ноты,
прочтет
мое стихотвореньице.
ВОРОВСКИЙ
Сегодня,
пролетариат,
гром голосов раскуй,
забуди
о всепрощенье и воске.
Приконченный
фашистской шайкой воровской,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский.
Сколько не станет...

Сколько не стало...
Скольких – в ключья...
Сколько – в дым...
Где б ни сдали.
Чья б ни сдала.
Мы не сдали,
мы не сдадим.
Сегодня
гнев
скругли
в огромный
бомбы мяч.
Сегодня
голоса
размолний штычьим блеском.
В глазах
в капиталистовых маячь.
Чертись
по королевским занавескам.
Ответ
в мильон шагов
пошли
на наглость нот.
Мильонную толпу
у стен кремлевских вызмей.
Пусть
смерть товарища
сегодня
подчеркнет
бессмертье
дела коммунизма.
БАКУ
Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхание Балахан.
Баку.
Листья – копоть.
Ветки – провода.
Баку.
Ручьи –
чернила нефти.
Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоносые люди.
Баку.
Никто не селится для веселья.
Баку.
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тянусь
любовью
более –
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка – правоверного,
Иерусалим –
христиан
на богомолье.
По тебе
машинами вздыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять

целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и врасос.
Воле города
противостать не смея,
цепью оцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится –
это оттого,
что до краев
изливается
столицам в сердце
черная
бакинская
густая кровь.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
Дело земли –
вертеться.
Литься –
дело вод.
Дело
молодых гвардейцев –
бег,
галоп
вперед.
Жизнь шажком
стара нам.
Бегом
под знаменем алым.
КОМСОМОЛЬСКИМ
миллионным тараном
вперед!
Но этого мало.
Полками
по полкам книжным,
чтоб буквы
и то смяло.
Мысль
засеем
и выжнем.
Вперед!
Но этого мало.
Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.
Новым
чувством
мысль
будоражь!
Но и этого мало.
Ковром
вселенную взвей.
Моль
из вселенной
выбей!
Вели
лететь
левой
всей
вселенской
глыбе!

НОРДЕРНЕЙ
Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная –
немецкий курорт,
живу в Нордернее.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега выруют,
то краб,
то дельфинье выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
киселем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовый раскат.
Я жду не дождусь
и не в силах дождаться,
но верую в ярую,
верую в скорую.
И чудится:
из-за островочка
кронштадтцы
уже выплывают
и целят «Авророю».
Но море в терпенье,
и буре не вывести.
Волну
и не гладят ветровы пальчики.
По пляжу
впластались в песок
и в ленивости
купальщицы млеют,
млеют купальщички.
И видится:
буря вздымается с дюны.
«Купальщички,
жиром набитые бочки,
спасайтесь!
Покроет,
измелет
и сдунет.
Песчинки – пули,
песок – пулеметчики».
Но пляж
буржуйкам
ласкает подошвы.
Но ветер,
песок
в ладу с грудастыми.
С улыбкой:
– как все в Германии дешево! –
валютчики
греют катары и астмы.
Но это ж,
наверно,
красные роты.
Шаганья знакомая разноголосица.
Сейчас на табльдотчиков,

сейчас на табльдоты
накинутся,
врежутся,
ринутся,
бросятся.
Но обер
на барыню
косится рабы:
фашистский
на барыньке
знак муссолинится.
Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабы,
глядят,
как в море
закатище вклинится.
Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря револицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо –
кроме тебя,
Революция!
МОСКВА – КЕНИГСБЕРГ
Проезжие – прохожих реже.
Еще храпит Москва деляг.
Тверскую жрет,
Тверскую режет
сорокасильный «Каделяк».
Обмахнуло
радиатор
горизонта веером.
– Eins!
zweil!
dreil! –
Мотора гром.
В небо дверью –
аэродром.
Брик.
Механик.
Ньюбольд.
Пилот.
Вещи.
Всем по пять кило.
Влезли пятеро.
Земля попятилась.
Разбежались дорожки –
ящеры.
Ходынка
накрылась скатертцей.
Красноармейцы,
Ходынкой стоящие,
стоя ж –
назад катятся.
Небо –
не ты ль?..
Звезды –
не вы ль это?!
Мимо звезды
(нельзя без виз)!
Навылет небу,
всему навывлет,
пали –
земной
отлетающий низ!

Развернулось солнечное это.

И пошли

часы

необычайниться.

Города,

светящиеся

в облачных просветах.

Птица

догоняет,

не догнала –

тянется...

Ямы воздуха.

С размаха ухаем.

Рядом молния.

Сощурился Ньюбольд.

Гром мотора.

В ухе

и над ухом.

Но не раздраженье.

Не боль.

Сердце,

чаще!

Мотору вторь.

Слились сладчайше

я

и мотор:

«Крылья Икар

в скалы низверг,

чтоб воздух – река

тек в Кенигсберг.

От чертежных дел

седел Леонардо,

чтоб я

летел,

куда мне надо.

Калечился Уточкин,

чтоб близко-близко,

от солнца на чуточку,

парить над Двинском.

Рекорд в рекорд

вбивал Горрб,

чтобы я

вот –

этой тучей-горой.

Коптел

над «Гномом»

Юнкере и Дукс,

чтоб спорил

с громом

моторов стук».

Что же –

для того

конец крылам Икариным,

человечество

затем

трудом заводов никло, –

чтобы этакий

Владимир Маяковский,

баринном,

Кенигсбергами

распархивался

на каникулы?!

чтобы этакой

бесхвостой

и бескрылой курице

меж подушками

усесться куце?!

Чтоб кидать,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
и не выглядывая из гондолы,
кожуру
колбасную –
на города и доли?!.
Нет!
Вылазьте из гондолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашнее,
послезавтрашнее человечество,
мой
неодолимый
стальнорукий класс, –
я
благодарю тебя
за то,
что ты
в полетах
и меня,
слабейшего,
вковал своим звеном.
Возлагаю
на тебя –
земля труда и пота –
горизонта
огненный венок.
Мы взлетели,
но еще – не слишком.
Если надо
к Марсам
дуги выгнуть –
сделай милость,
дай
отдать
мою жизнишку.
Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!
КИЕВ
Лапы елок,
лапки,
лапушки...
Все в снегу,
а теплые какие!
Будто в гости
к старой,
старой бабушке
я
вчера
приехал в Киев.
Вот стою
на горке
на Владимирской.
Ширь вовсю –
не вымчать и перу!
Так
когда-то,
рассиявшись в выморозки,
Киевскую
Русь
оглядывал Перун.
А потом –
когда
и кто,
не помню толком,
только знаю,
что сюда вот

по льду,
да и по воде,
в порогах,
волоком –
шли
с дарами
к Диру и Аскольду.
Дальше
било солнце
куполам в литавры.
– На колени, Русь!
Согнись и стой. –
До сегодня
нас
Владимир гонит в лавры.
Плеть креста
сжимает
каменный святой.
Шли
из мест
таких,
которых нету глуше, –
прадеды,
прапрадеды
и пра пра пра!..
Много
всяческих
кровавых безделушек
здесь у бабушки
моей
по берегам Днепра.
Был убит,
и снова встал Столыпин,
памятником встал,
вложивши пальцы в китель.
Снова был убит,
и вновь
дрожали липы
от пальбы
двенадцати правительств.
А теперь
встают
с Подола
дымы
киевская грудь
гудит,
котлами грета.
Не святой уже –
другой,
земной Владимир
крестит нас
железом и огнем декретов.
Даже чуть
зарусофильствовал
от этой шири!
Русофильство,
да другого сорта.
Вот
моя
рабочая страна,
одна
в огромном мире.
– Эй!
Пуанкаре!
возьми нас?..
Черта!
Пусть еще
последний,

старый батька
содрогает
плачем
лавры звонницы.
Пусть
еще
врезается с Крещатика
волчий вой:
«Даю – беру червонцы!»
Наша сила –
правда,
ваша –
лавры звоны.
Ваша –
дым кадильный,
наша –
фабрик дым.
Ваша мощь –
червонец,
наша –
стяг червонный
– Мы возьмем,
займем
и победим.
Здравствуй
и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути!
скорее!
ну-ка!
Умирай, старуха,
спекулянтка,
набожка.
Мы идем –
ватага юных внуков!
УХ, И ВЕСЕЛО!
О скуке
на этом свете
Гоголь
говаривал много.
Много он понимает –
этот самый ваш
Гоголь!
В СССР
от веселости
стонут
целые губернии и волости.
Например,
со смеха
слезы потопом
на крохотном перегоне
от Киева до Конотопа.
Свечи
кажут
язычки кончики.
11 ночи.
Сидим в вагончике.
Разговор
перекидывается сам
от бандитов
к Брынским лесам.
Остановят поезд –
минута паники.
И мчи
в Москву,
укутавшись в подштанники.
Осоловели;
поезд
темный и душный,

и легли,
попрятав червонцы
в отдушины.
4 утра.
Скок со всех ног.
Стук
со всех рук:
«Вставай!
Открывай двери!
Чай, не зимняя спячка.
Не медведи-звери!»
Где-то
с перепугу
загрохотал наган,
у кого-то
в плевательнице
застряла нога.
В двери
новый стук
раздраженный.
Заплакали
разбуженные
дети и жены.
Будь что будет...
Жизнь –
на ниточке!
Снимаю цепочку,
и вот...
Ласковый голос:
«Купите открыточки,
пожертвуйте
на воздушный флот!»
Сон
еще
не сошел с сонных,
ищут
радостно
карманы в кальсонах.
Черта
вытащишь
из голой ляжки.
Наконец,
разыскали
копеечные бумажки.
Утро,
вдали
петухи пропели...
– Через сколько
лет
соберет он на пропеллер?
Спрашиваю,
под плед
засовывая руки:
– Товарищ сборщик,
есть у вас внуки?
– Есть, –
говорит.
– Так скажите
внучке,
чтоб с тех собирала,
– на ком брючки.
А таким способом
– через тысячную ночку –
соберете
разве что
на очки летчику. –
Наконец,
задыхаясь от смеха,

поезд
взял
и дальше поехал.
К чему спать?
Позевывает пассажир.
Сны эти
только
нагоняют жир.
Человеческим
происхождением
гордятся простофили
А я
сожалею,
что я
не филин.
Как филинам полагается,
не предаваясь сну,
ждал бы
сборщиков,
влезши на сосну.
9-Е ЯНВАРЯ
О боге болтая,
о смирении говоря,
помни день –
9-е января.
Не с красной звездой –
в смирении тупом
с крестами шли
за Гапоном-попом.
Не в сабли
врубались
конармией-птицей –
белели
в руках
листы петиций.
Не в горло
вгрызались
царевым лампасникам –
плелись
в надежде на милость помазанника.
Скор
ответ
величества
был:
«Пули в спины!
в груди!
и в лбы!»
Позор без названия,
ужас без имени
покрыл и царя,
и площадь,
и Зимний.
А поп
на забрызганном кровью требнике
писал
в приход
царевы серебряники.
Не все враги уничтожены.
Есть!
Раздуйте
опять
потухшую месть.
Не сбиты
с Запада
крепости вражь.
Буржуи
рабочих
сгибают в рожья.

Рабочие,
помните русский урок!
Затвор осмотрите,
штык
и курок.
В споре с врагом –
одно решение:
Да здравствуют битвы!
Долой прошения!
КОМСОМОЛЬСКАЯ
Смерть –
не сметь
Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
говорит,
молчит
и ревет –
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив
ткацкой идеи
нить.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
Залили горем.
Свезли в мавзолей
Частицу Ленина –
тело.
Но тленью не взять –
ни земле,
ни золе –
первейшее в Ленине –
дело.
Смерть,
косу положи!
Приговор лжив.
С таким
небесам
не блажить.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
Ленин –
жив
шаганьем Кремля –
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет
земля
гордиться именем:
Ленинка.

Еще
по миру
пройдут мятежи –
сквозь все межи
коммуне
путь проложить.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» –
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» –
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам –
не ныть.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
Ленин рядом.
Вот
он.
Идет
и умрет с нами.
И снова
в каждом рожденном рожден –
как сила,
как знанье,
как знамя.
Земля,
под ногами дрожи.
За все рубежи
слова –
взвивайтесь кружить.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
Ленин ведь
тоже
начал с азов, –
жизнь –
мастерская геньина.
С низа льет,
с класса низов –
рвись
разгромадиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь
битая
выть.
Ленин –

жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
Ленин
больше
самых больших,
но даже
и это
диво
создали всех времен
малыши –
мы,
малыши коллектива.
Мускул
узлом вяжи.
Зубы-ножи –
в знанье –
вонзай крошить.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
Строит,
рушит,
кроит
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
говорит,
молчит
и ревет –
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив
ткацкой идеи
нить.
Ленин –
жил,
Ленин –
жив,
Ленин –
будет жить.
ЮБИЛЕЙНОЕ
Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.
Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте
уже не стук,
а стон,
тревожусь я о нем
в щенка смиренном львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслрой головенке..
Я тащу вас.

Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините дорогой.
У меня
да и у вас
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок другой?!
Будто бы вода –
давайте
мчать болтая,
будто бы весна –
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов,
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката,
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащенно
у таких, как мы
на поэтическом песке.
Вред – мечта
и бесполезно грезить,
Надо
ведь
служебную нуду.
Но бывает
жизнь
встает в другом разрезе
и большом,
понимаешь,
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия
пресволочнейшая штуковина:
существует
и ни в зуб ногой.
Например,

вот это
говорится или блеется?
Синемордое
в оранжевых усах
Новуходоносором
библейцем –
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите
из
выплывают
Red и White Star-ы
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами,
рад,
что вы у столика.
Муза эта
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
– Дескать
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. –
Было всякое:
и под окном стояние,
письма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии –
Это
Александр Сергеич –
много тяжелей.
Айда Маяковский!
Маяч на юг!
Сердце
рифмами вымуч
вот
и любви пришел какюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет
не старость этому имя!
Тушу
вперед стремя –
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить
и с тремя.
Говорят –
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
чтоб цензор не нацикал.
Передам вам –
говорят –
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИК'а.
Вот –
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич
да не слушайте-ж вы их!
Может
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться-б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом;
вы на Пе,
а я
на ЭМ.
Кто меж нами?
С кем велите знаться?!
Черезчур
страна моя
поэтами нища.
Между нами
– вот беда –
позатесался Надсон.
Мы попросим,
чтоб его
куданибудь
на Ща!
А Некрасов
Коля
сын покойного Алеши –
Он и в карты,
он и в стих,
и так
не плох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший,
Этот
нам кампания –
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы
за вас
полсотни отдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов –

Какой
одноробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо
чтоб поэт
и в жизни был мастак
мы крепки
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
так...
ничего...
морковный кофе.
Правда
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были-б живы –
стали бы
по Лефу соредатор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал;
– вот так то-мол
и так-то... –
Вы-б смогли –
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сукна,
в рекламу-б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам).
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья –
штык
да зубья вил,
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий плюшкин,

перышко держа,
ползет
с перержавленным.
– То же мол
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается –
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по моему
при жизни
– думаю –
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы-б его спросили
– а ваши к т о родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? –
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем
что-ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать
невольник чести...
пулю сражен...
Их
и по сегодня
много ходит
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно,
только вот
поэтов,
к сожалению, нету,
впрочем
может
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну,
давайте!
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни.
Полагается по чину.
Заложил бы
динамит
– а ну-ка

дрызнь,
Ненавижу
всяческую мертвечину,
обожаю
всяческую жизнь.
ПРОЛЕТАРИЙ, В ЗАРОДЫШЕ ЗАДУШИ ВОЙНУ!
БУДУЩИЕ:
Дипломатия
– Мистер министр?
How do you do?[9]
Ультиматум истек.
Уступки?
Не иду.
Фирме Морган
должен Крупп
ровно
три миллиарда
и руп.
Обложить облака!
Начать бои!
Будет добыча –
вам пай.
Люди – ваши,
расходы –
мои.
Good bye[10]!
Мобилизация
«Смит и сын.
Самоговорящий ящик»
Ящик
министр
придвинул быстр.
В раструб трубы,
мембране говорящей,
сорок
секунд
бубнил министр.
Сотое авеню.
Отец семейства.
Дочь
играет
цепочкой на отце.
Записал
с граммофона
время и место.
Фармацевт – как фармацевт.
Пять сортировщиков.
Вид водолаза.
Серых
масок
немигающий глаз –
уставили
в триста баллонов газа.
Блок
минуту
повизгивал лазя,
грузя
в кузова
«чумной газ».
Клубы
Нью-Йорка
раскрылись в сроки,
раз
не разнился
от других разов.
Фармацевт
сиял,
убивши в покер

флеш-роялем
– четырех тузов.
Наступление
Штаб воздушных гаваней и доков.
Возд-воен-электрик
Джим Уост
включил
в трансформатор
заатлантических токов
триста линий –
зюд-ост.
Авиатор
в карте
к цели полета
вграфил
по линейке
в линию линия.
Ровно
в пять
без механиков и пилотов
взвились
триста
чудовищ алюминия.
Треугольник
– летящая фабрика ветра –
в воздух
триста винтов всвистал.
Скорость –
шестьсот пятьдесят километров.
Девять
тысяч
метров –
высота.
Грозой не кривясь,
ни от ветра резкого,
только –
будто
гигантский кольт –
над каждым аэро
сухо потрескивал
ток
в 15 тысяч вольт.
Встали
стражей неба вражьего.
Кто умер –
счастье тому.
Знайτε,
буржуями
сжигаемые заживо,
последнее изобретение:
«крематорий на дому».
Бой
Город
дышал
что было мочи,
спал,
никак
не готовясь
к смертям.
Выползло
триста,
к дымочку дымочек.
Пошли
спиралью
снижаться, смердя.
Какая-то птица
– пустяк,
воробушки –

падала
в камень,
горохом ребрышки.
Крыша
рейхстага,
сиявшая лаково,
в две секунды
стала седая.
Бесцветный дух
дома обволакивал,
ник
к земле,
с этажей оседая.
«Спасайся, кто может,
с десятого –
прыга...»
Слово
свело
в холодеющем небе;
ножки,
еще минуту подрывав,
рядом
легли –
успокоились обе.
Безумные
думали:
«Сжалим,
умолим».
Когда
растаял
газ,
повися, –
ни человека,
ни зверя,
ни моли!
Жизнь
была
и вышла вся.
Четыре
аэро
снизились искоса,
лучи
скрестя
огромнейшим иксом.
Был труп
– и нет.
Был дом
– и нет его.
Жег
свет
фиолетовый.
Обделали чисто.
Ни дыма,
ни мрака.
Взорвали,
взрыли,
смыли,
взмели.
И город
лежит
погашенной маркой
на грязном,
рваном
пакете земли.
Победа
Морган.
Жена.
В корсетах.

Не двинется.
Глядя,
как
шампанское пенится,
Морган сказал:
– Дарю
имениннице
немного разрушенное,
но хорошее именице!
Товарищи, не допустим!
Сейчас
подытожена
великая война.
Пишут
мемуары
истории писцы.
Но боль близких,
любимых, нам
еще
кричит
из сухих цифр.
30
миллионов
взяли на мушку,
в сотнях
миллионов
стенанье и вой.
Но и этот
ад
покажется погремушкой
рядом
с грядущей
готовящейся войной.
Всеми спинами,
по пленам драными,
руками,
брошенными
на операционном столе,
всеми
в осень
ноющими ранами,
всей трескотней
всех костылей,
дырами ртов,
– выбил бой! –
голосом,
визгом газовой боли –
сегодня,
мир,
крикни
– долой!!!
Не будет!
Не хотим!
Не позволим!
Нациям
нет
врагов наций.
Нацию
выдумал
мира враг.
Выходи
не с нацией драться,
рабочий мира,
мира батрак!
Иди,
пролетарской армией топая,
штыки
последние

атакой выставь!
«Фразы
о мире –
пустая утопия,
пока
не экспроприрован
класс капиталистов».
Сегодня...
завтра... –
а справимся все-таки!
Виновным – смерть.
Невиновным – вдвойне.
Сбейте
жирных
дюжины и десятки.
Миру – мир,
война – войне.
СЕВАСТОПОЛЬ – ЯЛТА
В авто
насажали
разных армян,
рванулись –
и мы в пути.
Дорога до Ялты
будто роман:
все время
надо крутить.
Сначала
авто
подступает к горам,
охлаживая кряжевые.
Вот так и у нас
влюбленья пора:
намотишь –
и мчишь, ухаживая.
Авто
начинает
по солнцу трясть,
то жаренней ты,
то варенней:
так сердце
тебе
распаляет страсть,
и грудь –
раскаленной жаровней.
Привал,
шашлык,
не вяжешь лык,
с кружением
нету сладу.
У этих
у самых
гроздьев шашлык –
совсем поцелуйная сладость.
То солнечный жар,
то ущелий тоска, –
не верь
ни единой версийке.
Который москит
и который мускат,
и кто персюки
и персики?
И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом

встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней –
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой –
за камнем
любовник бандит.
А дальше –
тишь;
крестьяне, корпя,
лозой
растилали скаты.
Так,
свой виноградник
потом кропя,
и я
рисую плакаты.
Потом,
пропылясь,
проплывают года,
трусят
суетнею мышиною,
и лишь
развлекает
семейный скандал
случайно
лопнувшей шиной.
Когда ж
окончательно
это доест,
распух
от моторного гвалта –
– Стоп! –
И склепом
отдельный подъезд:
– Пожалте
червонец!
Ялта.
ВЛАДИКАВКАЗ – ТИФЛИС
Только
нога
вступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я –
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще –
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже

на мне
никаких рубах.
Бродягой, –
один архалух.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу –
и то б в похвалу.
Было:
с ордой,
загорел и носат,
старее
всею старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушой [11]
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История –
врун даровитый,
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:
Ираклии,
Нины,
Давиды.
Стена –
и то
знакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башни –
я помню:
я вел
Руставели Шотой
с царицей
с Тамарою
шашни.
А после
катился,
костьями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел –
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,

гитарой
душу отверз –
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс[12]...»
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князевы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмура.
Я вижу
правлящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Кура,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.
Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.
Я –
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари[13].
Я знаю:
глупость – эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,

радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.
Грузин я,
но не кинто озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто[14]
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире
мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири[15].
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает –
скрыть!
Все равно
не видать
в тумане.
ТАМАРА И ДЕМОН
От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть

заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает
мною
гипноз,
воды
и пены игране.
Вот башня,
револьвером
небу к висну,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств –
Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступления
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
– А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен –
какой гонорар?!
А стирка –
в семью копейка.
А даром
немного дарит гора:
лишь воду –
поди,
попей-ка! –
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,

из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как –
под ручку...
любезно...
– Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет...
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват –
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока –
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар –
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступеньки считаешь –
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара! –
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,

подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет –
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тamarочка!
ХУЛИГАНЩИНА
Только
солнце усядется,
канув
за опустевшие
фабричные стройки,
стонут
окраины
от хулиганов
вроде вот этой
милой тройки.
Человек пройдет
и – марш поодаль.
Таким попадись!
Ежовые лапочки!
От них ни проезда,
от них
ни прохода
ни женщине,
ни мужчине,
ни электрической лампочке.
«Мадамочка, стой!
Провожу немножко...
Клуб?
Почему?
Ломай стулья!
Он возражает?
В лопатку ножиком!
Зубы им вычти!
Помножь им скулья!»
Гудят
в башке
пивные пары,
тощая мысль
самогоном
смята,
и в воздухе
даже не топоры,
а целые
небоскребы
стоэтажного
мата.
Рабочий,
этим ли
кровь наших жил?!
Наши дочки
этим разве?!
Пока не поздно –
конец положи
этой горланной
и грязной язве!
ПОСМЕЕМСЯ!
СССР!
Из глоток из всех,
да так,
чтоб врагу аж смяться,

сегодня
раструбливай
радостный смех –
нам
можно теперь посмеяться!
Шипели: «Погибнут
через день, другой,
в крайности –
через две недели!»
Мы
гордо стоим,
а они дугой
изгибаются.
Ливреи надели.
Бились
в границы Советской страны:
«Не допустим
и к первой годовщине!»
Мы
гордо стоим,
а они –
штаны
в берлинских подвалах чинят.
Ллойд-Джорджи
ревели
со своих постов:
«Узурпаторы!
Бандиты!
Воришки!»
Мы
гордо стоим,
а они – раз сто
слетали,
как еловые шишки!
Они
на наши
голодные дни
радовались,
пожевывая пончики.
До урожая
мы доживаем,
а они
последние дожевали
миллиончики!
Злорадничали:
«Коммунистам
надежды нет:
погибнут
не в мае, так в июне».
А мы,
мы – стоим.
Мы – на 7 лет
ближе к мировой коммуне!
Товарищи,
вовсю
из глоток из всех –
да так, чтоб врагам аж смяться,
сегодня
раструбливайте
радостный смех!
Нам
есть над чем посмеяться!
КРАСНАЯ ЗАВИСТЬ
я
еще
не лыс
и не шамкаю,
все же

дядя
рослый с виду я.
В первый раз
за жизнь
малышам-ка я
барабанящим
позавидую.
Наша
жизнь –
в грядущее рваться,
оббивать
его порог,
вы ж
грядущее это
в двадцать
расшагаете
громом ног.
Нам
сегодня
корезит уши
громыханий
теплушечных
ржа.
Вас,
забывших
и имя теплушек,
разлетит
на рабфак
дирижабль.
Мы,
пергаменты
текстами саля,
подписываем
договора.
Вам
забыть
и границы Версаля
па борту
самолета-ковра.
Нам –
трамвай.
Попробуйте,
влезьте!
Полон.
Как в арифметике –
цифр.
Вы ж
в работу
будете
ездить,
самолет
выводя
под уздцы.
Мы
сегодня
двугривенный потный
отчисляем
от крох,
от жалований,
чтоб флот
взлетел
заработанный,
вам
за юность одну
пожалованный.
Мы
живем
как радиозайцы,

телефонные
трубки
крадя,
чтоб музыкам
в вас
врезаться,
от Урала
до Крыма грядя.
Мы живем
только тем,
что тощи,
чуть полней бы –
и в комнате
душно.
Небо
будет
ваша жилплощадь –
не зажмет
на шири
воздушной.
Мы
от солнца,
от снега зависим.
Из-за дождика –
с богом
судятся.
Вы ж
дождем
раскрепите выси,
как только
заблагорассудится.
Динамиты,
бомбы,
газы –
самолетов
наших
фарш.
Вам
смертями
не сыпать наземь,
разлетайтесь
под звонкий марш.
К нам
известье
идет
с почтовым,
проплывает
радость –
ГОД.
Это
глупое время
на что вам?
Телеграммой
проносится код.
Мы
в камнях
проживаем весны –
нет билета
и денег нет.
Вам
не будет
пространств поперстных –
сам
себе
проездной билет.
Превратятся
не скоро
в ягодку

словоцветы
О. Д. В. Ф.
Те,
кому
по три
и по два годка,
вспомни
нас,
эти ягоды съев.
ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!
Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его, – комсомол!
За хвост его, – пионер!
Коммуна
не сказочная принцесса,
чтоб о ней
мечтать по ночам.
Рассчитай,
обдумай,
нацелься –
и иди
хоть по мелочам.
Коммунизм
не только
у земли,
у фабрик в поту.
Он и дома
за столиком,
в отношеньях,
в семье,
в быту.
Кто скрипит
матершиной смачной
целый день,
как намазанный воз,
тот,
кто млеет
под визг балалаечный,
тот
до будущего
не дорос.
По фронтам
пулеметами такать –
не в этом
одном
война!
И семей
и квартир атака
угрожает
не меньше
нам.
Кто не выдержал
натиск домашний,
спит
в уюте
бумажных роз, –
до грядущей
жизни мощной
тот
пока еще
не дорос.
Как и шуба,
и время тоже –
проедает
быта моль ее.

Наших дней
залежалых одежду
перетряхни, комсомолия!
Цикл стихотворений «Париж» (1925 год)

ЕДУ
Билет –
щелк.
Щека –
чмок.
Свисток –
и рванулись туда мы,
куда,
как сельди,
в сети чулок
плывут
кругосветные дамы.
Сегодня приедет –
уродом-урод,
а завтра –
узнать посмейте-ка:
в одно
разубран
и город и рот –
помады,
огней косметика.
Веселых
тянет в эту вот даль.
В Париже грустить?
Едва ли!
В Париже
площадь
и та Этуаль,
а звезды –
так сплошь этуали.
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссели.
Но нож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж –
тому,
кто, как я, обрусели.
Сейчас бы
в сани
с ногами –
в снегу,
как в газетном листе б..
Свисти,
заноси снегами
меня,
прихерсонская степь..
Вечер,
поле,
огоньки,
дальняя дорога, –
сердце рвется от тоски,
а в груди –
тревога.
Эх, раз,
еще раз,
стих – в пляс.
Эх, раз,
еще раз,
рифм хряск.
Эх, раз,

еще раз,
еще много, много раз...
Люди
разных стран и рас,
копая порядков грядки,
увидев,
как я
себя протряс,
скажут:
в лихорадке.
ГОРОД
Один Париж –
адвокатов,
казарм,
другой –
без казарм и без Эррио.
Не оторвать
от второго
глаза –
от этого города серого.
Со стен обещают:
«Un verre de koto
donne de l'energie»
Вином любви
каким
и кто
мою взбудоражит жизнь?
Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.
Но кому я, к черту, попутчик!
Ни души
не шагает
рядом.
Как раньше,
свой
раскачивай горб
впереди
поэтовых арб –
неси,
один,
и радость,
и скорбь,
и прочий
людской скарб.
Мне скучно
здесь
одному
впереди, –
поэту
не надо многого, –
пусть
только
время
скорей родит
такого, как я,
быстроногого.
Мы рядом
пойдем
дорожной пыльцой.
Одно
желанье
пучит:
мне скучно –
желаю

видеть в лицо,
кому это
я
попутчик?!
«Je suis un chateau»,
в плакате стоят
литеры,
каждая – фут.
Совершенно верно:
«Je suis», –
это
«я»,
а «chateau» – это
«я верблюд».
Лиловая туча,
скорей нагнись,
меня
и Париж полей,
чтоб только
скорей
зацвели огни
длиной
Елисейских полей.
Во все огонь –
и небу в темь
и в чернь промокшей пыли.
В огне
жуками
всех систем
жужжат
автомобили.
Горит вода,
земля горит,
горит
асфальт
до жжения,
как будто
зубрят
фонари
таблицу умножения.
Площадь
красивей
и тысяч
дам-болонок.
Эта площадь
оправдала б
каждый город.
Если б был я
Вандомская колонна,
я б женился
на Place la concorde.
ВЕРЛЕН И СЕЗАН
Я стучаюсь
о стол,
о шкафа острия –
четыре метра ежедневно мерь.
Мне тесно здесь
в отеле Istria –
на коротышке
rue Campagne-Premiere.
Мне жмет.
Парижская жизнь не про нас –
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас –
Boulevard Montparnasse,
налево –
Boulevard Raspail.

Хожу и хожу,
не щадя каблука, –
хожу
и ночь и день я, –
хожу трафаретным поэтом, пока
в глазах
не встанут виденья.
Туман – парикмахер,
он делает гениев –
загримировал
одного
бородой –
Добрый вечер, m-r Тургенев.
Добрый вечер, m-me Виардо.
Пошел:
«За что боролись?
А Рудин?..
А вы,
именье
возьми подпальни...»
Мне
их разговор эмигрантский
нуден,
и юркаю
в кафе от скульни.
Да.
Это он,
вот эта сова –
не тронул
великого
тлен.
Приподнял шляпу:
«Comment ça va,
cher camarade Verlaine[16]?»
Откуда вас знаю?
Вас знают все.
И вот
довелось состукаться.
Лет сорок
вы тянете
свой абсент
из тысячи репродукций.
Я раньше
вас
почти не читал,
а нынче –
вышло из моды, –
и рад бы прочесть –
не поймешь ни черта:
по-русски дрянь, –
переводы.
Не злитесь, –
со мной,
должно быть, и вы
знакомы
лишь понаслышке.
Поговорим
о пустяках путевых,
о нашинском ремеслишке.
Теперь
плохие стихи –
труха.
Хороший –
себе дороже.
С хорошим
и я б
свои потроха
сложил

под забором
тоже.
Бумаги
гладь
облевывая
пером,
концом губы –
поэт,
как блядь рублевая,
живет
с словцом любим.
Я жизнь
отдать
за сегодня
рад.
Какая это громада!
Вы чуєте
слово –
пролетариат? –
ему
грандиозное надо.
Из кожи
надо
вылазить тут,
а нас –
к журнальчикам
премией.
Когда ж поймут,
что поэзия –
труд,
что место нужно
и время ей.
«Лицом к деревне» –
заданье дано, –
за гусли,
поэты-друзи!
Поймите ж –
лицо у меня
одно –
оно лицо,
а не флюгер.
А тут и ГУС
отверзает уста:
вопрос не решен.
«Который?
Поэт?
Так ведь это ж –
просто кустарь,
простой кустарь,
без мотора».
Перо
такому
в язык вонзи,
прибей
к векам кунсткамер.
Ты врешь.
Еще
не найден бензин,
что движет
сердцец кусками.
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идейка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.

Что я –
попугай?
индейка?
К рабочему
надо
идти серьезней –
недооценили их мы.
Поэты,
покайтесь,
пока не поздно,
во всех
отглагольных рифмах.
У нас
поэт
событья берет –
спишет
вчерашний гул,
а надо
рваться
в завтра,
вперед,
чтоб брюки
трещали
в шагу.
В садах коммуны
вспомнят о барде –
какие
птицы
зальются им?
Что
будет
с веток
товарищ Вардин
рассвистывать
свои резолюции?!
За глотку возьмем.
«Теперь поори,
несбитая быта морда!»
И вижу,
зависть
зажглась и горит
в глазах
моего натюрморта.
И каплет
с Верлена
в стакан слеза.
Он весь –
как зуб на сверле.
Тут
к нам
подходит
Поль Сезан:
«Я
так
напишу вас, Верлен».
Он пишет.
Смотрю,
как краска свежа.
Monsieur,
простите вы меня,
у нас
старикам,
как под хвост вожжа,
бывало
от вашего имени.
Бывало –
сезон,
наш бог – Ван-Гог,

другой сезон –
Сезан.
Теперь
ушли от искусства
вбок –
не краску любят,
а сан.
Птенцы –
у них
молоко на губах, –
а с детства
к смирению падки.
Большущее имя взяли
АХРР,
а чешут
ответственным
пятки.
Небось
не напишут
мой портрет, –
не трут
понапрасну
кисти.
Ведь то же
лицо как будто, –
ан нет,
рисуют
кто поцекистей.
Сезан
остановился на линии,
и весь
размерсился – тронутый.
Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды».
NOTRE-DAME
Другие здания
лежат,
как грязная кора,
в воспоминании
о NOTRE-DAME'е.
Прошедшего
возвышенный корабль,
о время зацепившийся
и севший на мель.
Раскрыли дверь –
тоски тяжелей;
желе
из железа –
нелепее.
Прошли
сквозь монаший
служилый елей
в соборное великолепие.
Читал
письмена,
украшавшие храм,
про боговы блага
на небе.
Спускался в партер,
подымался к хорам,
смотрел удобства
и мебель.
Я вышел –
со мной
переводчица-дура,

щебечет
бантиком-ротиком:
«Ну, как вам
нравится архитектура?
Какая небесная готика!»
Я взвесил все
и обдумал, –
ну вот:
он лучше Блаженного Васьки.
Конечно,
под клуб не пойдет –
темноват, –
об этом не думали
классики.
Не стиль...
Я в этих делах не мастак.
Не дался
старью на съедение.
Но то хорошо,
что уже места
готовы тебе
для сидения.
Его
ни к чему
перестраивать заново –
приладим
с грехом пополам,
а в наших –
ни стульев нет,
ни органов.
Копнешь –
одни купола.
И лучше б оркестр,
да игра дорога –
сначала
не будет финансов, –
а то ли дело
когда орган –
играй
хоть пять сеансов.
Ясно –
репертуар иной –
фокстроты,
а не сопенье.
Нельзя же
французскому Госкино
духовные песнопения.
А для рекламы –
не храм,
а краса –
старайся
во все тяжкие.
Электрорекламе –
лучший фасад:
меж башен
пустить перетяжки,
да буквами разными:
«Signe de Zoro»,
чтоб буквы бежали,
как мышь.
Такая реклама
так заорет,
что видно
во весь Boulevard.
А если
и лампочки
вставить в глаза
хищерам

в углах собора,
тогда –
никто не уйдет назад:
подряд –
битковые сборы!
Да, надо
быть
бережливым тут,
ядром
чего
не попортив.
В особенности,
если пойдут
громить
префектуру
напротив.
ВЕРСАЛЬ
По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченых каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельезой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет
авто россиян, –
кокотки,
рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.
Версаль.
Возглас первый:
«Хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыши спален и зал –
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя –
хоть целую жизнь
воровать!
А за дворцом,
и сюды
и туды,
чтоб жизнь им
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды
с фонтаном

из медных жаб.
Вокруг,
в поощрение
жантильных манер,
дорожки
полны статуями –
езде Аполлоны,
а этих
Венер
безруких, –
так целые уймы.
А дальше –
жилья
для их Помпадурш –
Большой Трианон
и Маленький.
Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спальни.
Смотрю на жизнь –
ах, как не нова!
Красивость –
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же –
завидные видики!
Сады завидные –
в розах!
Скорей бы
культуру
такой же выделки,
но в новый,
машинный розмах!
В музеи
вот эти
лачуги б вымести!
Сюда бы –
стальной
и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости, –
такой,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
чтоб и глазу больно.
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям –
еще имеющимся –
в назидание:
с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,
слегка
листочки ворся.
Прозрачный
вечерний
небесный колпак
закрыв
музейный Версаль.
ЖОРЕС
Ноябрь,
а народ
зажат до жары.
Стою
и смотрю долго:
на шинах машинных
мимо –
шары
катаются
в треуголках.
Войной обогранные
руки
умыв
и красные
шансы
взвесив,
коммерцию
новую
вбили в умы –
хотят
спекульнуть на Жоресе.
Покажут рабочим –
смотрите,
и он
с великими нашими
тоже.
Жорес
настоящий француз.
Пантеон
не станет же
он
тревожить.
Готовы
потоки
слезливых фраз.
Эскорт,
колесницы – эффект!
Ни с места!
Скажите,
кем из вас
в окне
пристрелен
Жорес?
Теперь

пришли
панихидами выть.
Зорче,
рабочий класс!
Товарищ Жорес,
не дай убить
себя
во второй раз.
Не даст.
Подняв
знамен мачтовый лес,
спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой,
по-прежнему
Жорес
проходит в Пантеон
по улице Суфло
Он в этих криках,
несущихся вверх,
в знаменах,
в шагах,
в горбах.
«Vivent les Soviets!..
A bas la guerre!..
Capitalisme a bas[17]!»
И вот –
взбегает огонь
и горит,
и песня
краснеет у рта.
И кажется –
снова
в дыму
пушкари
идут
к парижским фортам.
Спиною
к витринам отжали –
и вот
из книжек
выжались
тени.
И снова
71-й год
встает
у страниц в шелестении.
Гора
на груди
могла б подняться.
Там
гневный окрик орет:
«Кто смел сказать,
что мы
в семнадцатом
предали
французский народ?
Неправда,
мы с вами,
французские блузники.
Забудьте
этот
поклеп дрянной.
На всех баррикадах
мы ваши союзники,
рабочий Крезо

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
и рабочий Рено».

ПРОЩАНИЕ
(Кафе)
Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом».
В кафе
идут
по сотням дорог,
плывут
по бульварной реке.
Вплываю и я:
«Garçon,
un grog
américain[18]!»
Сначала
слова,
и губы,
и скулы
кафейный гомон сливал.
Но вот
пошли
вылупляться из гула
и лепятся
фразой
слова.
«Тут
проходил
Маяковский давече,
хромой –
не видали рази?» –
«А с кем он шел?» –
«С Николай Николаичем». –
«С каким?»
«Да с великим князем!» –
«С великим князем?
Будет врать!
Он кругл
и лыс,
как ладонь.
Чекист он,
послан сюда
взорвать...» –
«Кого?» –
«Буа-дю-Булонь.
Езжай, мол, Мишка...»
Другой поправил:
«Вы врете,
противно слушать!
Совсем и не Мишка он,
а Павел.
Бывало, сядем –
Павлуша! –
а тут же
его супруга,
княжна,
брюнетка,
лет под тридцать...» –
«Чья?

Маяковского?

Он не женат».

«Женат –

и на императрице». –

«На ком?

Ее ж расстреляли...» –

«И он

поверил –

Сделайте милость!

Ее ж Маяковский спас

за трильон!

Она же ж

омолодилась!»

Благодарный голос:

«Да нет,

вы врете –

Маяковский – поэт». –

«Ну, да, –

вмешалось двое саврасов, –

в конце

семнадцатого года

в Москве

чекой конфискован Некрасов

и весь

Маяковскому отдан.

Вы думаете –

сам он?

Сбондил до йот –

весь стих,

с запятыми,

скраден.

Достанет Некрасова

и продает –

червонцев по десять

на день».

Где вы,

свахи?

Подымись, Агафья!

Предлагается

жених невиданный.

Видано ль,

чтоб человек

с такую биографией

был бы холост

и старел невиданный?!
Париж,

тебе ль,

столице столетий,

к лицу

эмигрантская нудь?

Смахни

за ушми

эмигрантские сплетни.

Провинция! –

не продохнуть. –

Я вышел

в раздумье –

черт его знает!

Отплюнулся –

тьфу, напасть!

Дыра

в ушах

не у всех сквозная –

другому

может запасть!

Слушайте, читатели,

когда прочтете,

что с Черчиллем

Маяковский
дружбу вертит
или
что женился я
на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу, –
не верьте.
ПРОЩАНИЕ
В авто,
последний франк разменяв.
– В котором часу на Марсель? –
Париж
бежит,
проводя меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижя,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли –
Москва.
Цикл «Стихи об Америке» (1925 год)
ИСПАНИЯ
Ты – я думал –
райский сад.
Ложь
подпивших бардов.
Нет –
живьем я вижу
склад
«ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».
Из прилипших к скалам сел
опустясь с опаской,
чистокровнейший осел
шпарит по-испански.
Все плебейство выбив вон,
в шляпы влезла по нос.
Стал
простецкий
«телефон»
гордым
«телефонос».
Чернь волос
в цветах горит.
Щеки в шаль орамив,
сотня с лишним
сеньорит
машет веерами.
От медуз
воде сине.
Глуби –
версты мера.
Из товарищей
«сеньор»
стал
и «кабальеро».
Кастаньеты гонят сонь.
Визги...
пенье...
страсти!
А на что мне это все?

Как собаке – здрасите!

6 МОНАХИНЬ

Воздев

печеные

картошки личек,

черней,

чем негр,

не выдавший бань,

шестеро благочестивейших католичек

влезло

на борт

парохода «Эспань».

И сзади

и спереди

ровней, чем веревка.

Шали,

как с гвоздика,

с плеч висят,

а лица

обвила

белейшая гофрировка,

как в пасху

гофрируют

ножки поросят.

Пусть заполнится годами

жизни квота –

стоит

только

вспомнить это диво,

раздирает

рот

зевота

шире Мексиканского залива.

Трезвые,

чистые,

как раствор борной,

вместе,

эскадром, садятся есть.

Пообедав, сообща

скрываются в уборной.

Одна зевнула –

зевает шесть.

Вместо известных

симметричных мест,

где у женщин выпуклость, –

у ЭТИХ выем;

в одной выемке –

серебряный крест,

в другой – медали

со Львом

и с Пием.

Продрав глазенки

раньше, чем можно, –

в раю

(ужо!)

отоспятся лишек, –

оркестром без дирижера

шесть дорожных

вынимают

евангелишек.

Придешь ночью –

сидят и бормочут.

Рассвет в розы –

бормочут, стервозы!

И днем,

и ночью, и в утра, и в полдни

сидят

и бормочут,

дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галosh
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулеж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный
– Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте –
если
люди вы,
то кто ж
тогда
вороны?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?
Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
Весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься –
сюда
не суйся –
все равно:
повесишься с тоски!
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Испанский камень
слепящ и бел,
а стены –
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованным носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.
Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом –

вода.
Недели
грудью своей атлетической –
то работяга,
то в стельку пьян –
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.
«Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...
Развернись и плюнь –
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой –
сварю ухой.
Людей не надо нам –
малы к обеду.
Не трону...
ладно...
пускай едут...»
Волны
будоражить мастера:
детство выплеснут;
другому –
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать!
Вон –
пошло,
затарахтело,
загромило!
И снова
вода
присмирела сквозная,
и нет
никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
откуда-то –
черт его знает! –
встает
из глубин
водный Ревком.
И гвардия капель –
воды партизаны –
взбираются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
спаялись воды в одно,
волне
повелев
разбурлиться вождем.
И прет волница
с-под тучи
на дно –
приказы
и лозунги
сыплет дождем.
И волны
клянутся
всеобщему Цику
оружие бурь

до победы не класть.
И вот победили –
экватору в циркуль
Советов–капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле.
И вот
океан
улыбнулся умытенький
и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легче жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком,
Уже
и луну
положили дорожкой.
Хоть прямо
на пузе,
как по суху, лазь.
Но враг не сунется –
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю –
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу –
моей революции
старший брат.
МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ
Превращусь
не в Толстого, так в толстого, –

ем,
пишу,
от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.
Вчера
океан был злой,
как черт,
сегодня
смиренней
голубицы на яйцах.
Какая разница!
Все течет...
Все меняется.
Есть
У воды
своя пора:
часы прилива,
часы отлива.
А у Стеклова
вода
не сходила с пера.
Несправедливо.
Дохлая рыбка
плывет одна.
Висят
плавнички,
как подбитые крылышки.
Плывет недели,
и нет ей –
ни дна,
ни покрышки.
Навстречу
медленней, чем тело тюленья,
пароход из Мексики,
а мы –
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.
Это кит – говорят.
Возможно и так.
Вроде рыбьего Бедного –
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы – чайки.
Вылетят в ряд –
и в воду –
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?
Я родился,
рос,
кормили соскою, –
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.
БЛЕК ЭНД УАЙТ
Если
Гавану
окинуть мигом –
рай-страна,

страна что надо.
Под пальмой
на ножке
стоят фламинго.
Цветет
коларио
по всей Ведадо.
В Гаване
все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных – нет.
Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
за жизнь
повымел Вилли –
одних пылинок
целый лес, –
поэтому
волос у Вилли
вылез,
поэтому
живот у Вилли
влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовой инспектор,
кинет
негру
цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
стали б
ходить на голове.
И то
намели бы
больше грязи:
волосьев тыщи,
а ног –
две.
Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно –
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:
«Белый
ест
ананас спелый,

черный –
гнилью моченый.
Белую работу
делает белый,
черную работу –
черный».
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.
Негр
подходит
к туше дебелой:
«Ай бэг ер пардон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам –
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.
Вывернулся
король
сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые подштанники
руку,
с носа утершую кровь.
Негр
посопел подбитым носом,
поднял щетку,
держась за скулу.
Откуда знать ему,
что с таким вопросом
надо обращаться

в Коминтерн,
в Москву?
СИФИЛИС
Пароход подошел,
завыл,
погудел –
и скован,
как каторжник беглый.
На палубе
700 человек людей,
остальные –
негры.
Подплыл
катерок
с одного бочка.
Вбежав
по лесенке хромой,
осматривал
врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи
и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс
дефилировал
мимо
улыбавшегося врача.
Дым
голубой
из двустволки ноздрей
колечком
единым
свив,
первым
шел
в алмазной заре
свиной король –
Свифт.
Трубка
воняет,
в метр длиной.
Попробуй к такому –
полезь!
Под шелком кальсон,
под батистом-лино,
поди,
разбери болезнь.
«Остров,
дай
воздержанья зарок!
Остановить велите!»
Но взял
капитан
под козырек
и спущен Свифт –
сифилитик.
За первым классом
шел второй.
Исследуя
этот класс,
врач
удивлялся,
что ноздри с дырой, –
лез
и в ухо
и в глаз.
Врач смотрел,
губу своротив,

нос
под очками
взморща.
Врач
троих
послал в карантин
из
второклассного сборища.
За вторым
надвигался
третий класс,
черный от негритья.
Врач посмотрел:
четвертый час,
время коктейлей
питья.
– Гоните обратно
трюму в щель!
Больные –
видно и так.
Грязный вид...
И вообще –
оспа не привита. –
У негра
виски
ревмя ревут.
Валяется
в трюме
Том.
Назавтра
Тому
оспу привьют –
и Том
возвратится в дом.
На берегу
у Тома
жена.
Волоса
густые, как нефть.
И кожа ее
черна и жирна,
как вакса
«Черный лев».
Пока
по работам
Том болтается,
– у Кубы
губа не дура –
жену его
прогнали с плантаций
за неотработку
натурой.
Луна
в океан
накидала монет,
хоть сбросься,
вбежав на насыпь!
Недели
ни хлеба,
ни мяса нет.
Недели –
одни ананасы.
Опять
пароход
привинтило винтом.
Следующий –
через недели!
Как дожждаться

с голодным ртом?
– Забыл,
разлюбил,
забросил Том!
С белой
рогожу
делит! –
Не заработать ей
и не скрасть.
Везде
полисмены под зонтиком.
А мистеру Свифту
последнюю страсть
раздула
эта экзотика.
Потело
тело
под бельецом
от черненького мясца.
Он тыкал
доллары
в руку, в лицо,
в голодные месяца.
Схватились –
желудок,
пустой давно,
и верности тяжеловес.
Она
решила отчетливо:
«No!», –
и глухо сказала:
«Yes!»
Уже
на дверь
плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его
и ее
наверх
в номера
взвинтил
услужливый лифт.
Явился
Том
через два денька.
Неделю
спал без просыпа.
И рад был,
что есть
и хлеб,
и деньга
и что не будет оспы.
Но день пришел,
и у кож
в темноте
узор непонятный впеппен.
И дети
у матери в животе
онемевали
и слепли.
Суставы ломая
день ото дня,
года календарные вылистаны,
и кто-то
у тел
половину отнял
и вытянул руки
для милостыни.

Внимание
к негру
стало особое.
Когда
собиралась паства,
морали
наглядное это пособие
показывал
постный пастор:
«Карает бог
и его
и ее
за то, что
водила гостей!»
И слазило
черного мяса гнилье
с гнилых
негритянских костей.
В политику
этим
не думал ввязаться я.
А так –
срисовал для видика.
Одни говорят –
«цивилизация»,
другие –
«колониальная политика».
ХРИСТОФОР КОЛОМБ
Христофор Колумб был Христофор
Коломб – испанский еврей.

Из журналов.

1
Вижу, как сейчас,
объедки да бутылки...
В портишке,
известном
лишь кабачком,
Коломб Христофор
и другие забулдыги
сидят,
нахлобучив
шляпы бочком.
Христофора злят,
пристают к Христофору:
«Что вы за нация?
Один Сион!
Любой португалишка
даст тебе фору!»
Вконец извели Христофора –
и он
покрыл
дисканточком
щелканье пробок
(задели
в еврее
больную струну):
«Что вы лезете:
Европа да Европа!
Возьму
и открою другую
страну».
Дивятся приятели:
«Что с Коломбом?
Вина не пьет,
не ходит гулять».

Надо смотреть –
не вывихнул ум бы.
Всю ночь сидит,
раздвигает циркуля».

2

Мертвая хватка в молодом еврее;
думает,
не ест,
недосыпает ночей.

Лакеев
оттягивает
за фалды ливреи,
лезет
аж в спальни
королей и богачей.
«Кораллами торгуете?!
Дешевле редиски.

Сам
наловит
каждый мальчуган.

То ли дело
материк индийский:
не барахло –
бирюза,
жемчуга!

Дело верное:
вот вам карта.

Это океан,
а это –

мы.

Пунктиром путь –
и бриллиантов караты
на каждый полтинник,
данный взаймы».

Тесно торгашам.
Томятся непоседы.

Посуху
и в год
не обернется караван.
И закапали
флорины и пезеты
Христофору
в продырявленный карман.

3

Идут,
посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма.

Впереди –
ни рубля.

Арабы,
французы,
испанцы

и датчане
лезли

по трапам
Коломбова корабля.

«Кто здесь Колумб?
До Индии?

В ночку!

(Чего не откроешь,
если в пузе орган!)

Выкатывай на палубу
белого бочку,

а там

вези

хоть к черту на рога!»
Прощанье – что надо.

Не отъезд – а помпа:
день
не просыхали
капли на усах,
Время
меряли,
вперяясь в компас.
Спьяна
путали штаны и паруса.
Чуть не сшибли
маяк зажженный.
Палубные
не держатся на полу,
и вот,
быть может, отсюда,
с Жижона,
на всех парусах
рванулса Коломб.

4

Единая мысль мне сегодня любя,
что эти вот волны
Коломба лапили,
что в эту же воду
с Коломбова лба
стекали
пота
усталые капли.
Что это небо
землей обмеля,
на это вот облако,
вставшее с юга, –
«На мачты, братва!
глядите –
земля!» –
орал
рассудок теряющий юнга.
И вновь
океан
с простора раскосого
вбивал
в небеса
громыхающий клин,
а после
бртался
с волной сарагоссовой.
и вместе
пучки травы волокли.
Он
этой же бури слушал лады.
Когда ж
затихает бури задор,
мерещатся
в водах
Коломба следы,
ведущие
на Сан-Сальвадор.

5

Вырастают дни
в бородатые месяцы.
Луны
мрут
у мачты на колу.
Надоело океану,
Атлантический бесится.
Взбешен Христофор,
извелся Коломб.
С тысячной волны трехпарусник
съехал.

На тысячу первую взбираться
надо.
Видели Атлантический?
Тут не до смеха!
Команда ярится –
устала команда.
Шепчутся:
«Черту ввязались в попутчики.
Дома плохо?
И стол и кровать.
Знаем мы
эти
жидовские штучки –
разные
Америки
закрывать и открывать!»
За капитаном ходят по пятам.
«Вернись! – говорят,
играют мушкой. –
Какой ты ни есть
капитан-раскапитан,
а мы тебе тоже
не фунт с осьмушкой».
Лазит коломб
на брамсель с фока,
глаза аж навывкате,
исхудал лицом;
пустился вовсю:
придумал фокус
со знаменитым
Колумбовым яйцом.
Что яйцо? –
игрушка на день.
И день
не оттянешь
у жизни-воровки.
Галдит команда,
на Колумба глядя:
«Крепка
петля
из гонуэзской веревки.
Кончай,
Христофор,
собачий век!..»
И кортики
воздух
во тьме секут.
«Земля!» –
Горизонт в туманной
кайме.
Как я вот
в растущую Мексику
и в розовый
этот
песок на заре,
вглазелись.
Не смеют надеяться:
с кольцом экватора
в медной ноздре
вставал
материк индейцев.
6
Года прошли.
В старика
шипуну
смельчал Атлантический,
гордый смолоду.
С бортов «Мажестиков»

любая шпана
плюет
в твою
седоусую морду.
Коломб!
твое пропало наследство!
В вонючих трюмах
твои потомки
с машинным адом
в горящем соседстве
лежат,
под щеку
подложивши котомки.
А сверху,
в цветах первоклассных розеток,
катаясь пузом
от танцев
до пьянки,
в уюте читален,
кино
и клозетов
катаются донны,
сеньоры
и янки.
Ты балда, Коломб, –
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично –
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл –
вторично.
ТРОПИКИ
(Дорога Вера-Круц – Мехико-сити)

Смотрю:
вот это –
тропики.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд
прет торопкий
сквозь пальмы,
сквозь банановые.
Их силуэты-веники
встанут рисунком тошненьким:
не то они – священники,
не то они – художники.
Аж сам
не веришь факту:
из всей бузы и вара
встает
растенье – кактус
трубой от самовара.
А птички в этой печке
красивей всякой меры.
По смыслу –
воробейчики,
а видом –
шантеклеры.
Но прежде чем
осмыслил лес
и бред,
и жар,
и день я –
и день

и лес исчез
без вечера
и без
предупреждения.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не счел бы
лучший казначей
звезды
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.
Смотрю:
ни зги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.
МЕКСИКА
О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.
Наступаешь на ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
а клячи пролеток –
мустанги.
Взаправду
игрушечный
рос магазин,
ревел
пароходный гудок.
Сейчас же
сбегу
в страну мокасин –
лишь сбондю
рубль и бульдог.
А сегодня –
это не умора.
Сколько миль воды
винтом нарыто, –
и встает
живьем
страна Фениамора
Купера
и Майн Рида.
Рев сирен,
кончается вода.
Мы прикручены
к земле
о локоть локоть.
И берет
набитый «лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад? –
– Ястребиный коготь!

Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».
Где товарищи?
чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба? –
Цедит
злобно
Коготь Ястребиный,
медленно,
как треснувшая крынка:
– Нету краснокожих – истребили
гачупины с гринго.
Ну, а тех из нас,
которых
пульки
пощадил,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовой «пульке»
добивает
по 12-ти сантиметров.
Заменила
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться... –
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобуча
вместо радуги
из перьев
птицы Кетцаль.
Года и столетья!
Как ни косите
склоненные головы дней, –
корявые камни
Мехико-сити
прошедшее вышепчут мне.
Это
было
так давно,
как будто не было.
Бабушки столетних попугаев
не запомнят.
Здесь
из зыби озера
вставал Пуабло,
дом-коммуна
в десять тысяч комнат.
И золото
между озерных зыбей
лежало,
аж рыть не надо вам.
Чего еще,
живи,
бронзовой,
вторая сестра Элладова!
Но очень надо
за морем
белым,

чего индейцу не надо.
Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда.
Тяжек испанских пушек груз.
Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эрнандо Кортес.
Пришел.
Вода студеная
хочет
вскипеть кипятком
от огня.
Дерутся
72 ночи
и 72 дня.
Хранят
краснокожих
двумордые идолы.
От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих
Моктецума предал.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,
Гватемок
в озерной воде
мок.
Что
против пушек
стреленка твоя!..
Под пытками
умер Гватемок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыкает
столетий орда,
и горько стоять индейцу.
Что братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Диэцов?..
Прошла
годов трезначная сумма.
Героика
нынче не тема.
Пивною маркой стал Моктецума,
пивной маркой – Гватемок.
Буржуи
все
под одно стригут.
Вконец обесцветили мир мы.

Теперь
в утешенье земле-старика
лишь две
конкуrentки фирмы.
Ни лиц пожелтeлых,
ни солнца одеж.
В какую
огромную лупу,
в какой тpуцобе
теперь
найдeшь
сарапе и Гваделупу?
что Рига, что Мехико –
родственный жанр.
Латвия
тропического леса.
Вся разница:
зонтик в руке у рижан,
а у мексиканцев
«Смит и Вессон».
Две Латвии
с двух земных боков –
различные собой они
лишь тем,
что в Мексике
режут быков
в театре,
а в Риге –
на бойне.
И совсем как в Риге,
около пяти,
проклиная
мамову опеку,
фордом
разжигая жениховский аппетит,
кружат дочки
по Чапультапеку.
А то,
что тут урожай фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца, –
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.
Под –
народ.
Голейший зад виднеется.
Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых, –
не полагается:
индейцы.
Обнищало
моктещумье племя,
и стоит оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехико-сити
вход воспрещается».
Пятьсот
по Мексике

нищих племен,
а сытый
с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,
роднящий крик:
«Камарада!»
Голод
мастер людей равнять.
Каждый индеец,
кто гол.
В грядущем огне
родня-головня
ацтек,
метис
и креол.
Мильон не угробят богатых лопаты.
Страна!
Поди,
покори ее!
Встают
взамен одного Запаты
Гальваны,
Морено,
Карио.
Сметай
с горбов
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис!
Скорей
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!
БОГОМЛЬНОЕ
Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах –
словесные бои.
Колокола без языков –
немые словно.
По божьим престолом
похабничают воробьи.
Без веры
и нравственность ищем напрасно.
Чтоб нравственным быть –
кадилами вей.
Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль –
богомольнейший из монашских институтцев.
Брат «Notre Dame'a»
на площади, –
а около,
Запружена народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии –

площадь «Сокола»
Блестящий
двенадцатицилиндровый
«пакард»
остановил шофер,
простоватый хлопец.
– Стой, – говорит, –
помолюсь пока... –
донна Эсперанца Хуан-де-Лопец.
Нету донны
ни час, ни полтора.
Видно, замолилась.
Веровать так веровать
И снится шоферу –
донна у алтаря.
Париж
голубочком
душа шоферова.
А в кафедрале
безлюдно и тихо:
не занято
в соборе
ни единого стульца.
С другой стороны
у собора –
выход
сразу
на четыре гудящие улицы.
Донна Эсперанца
выйдет как только,
к донне
дон распаленный кинется.
За угол!
Улица «Изабелла Католика»
а в этой улице –
гостиница на гостинице.
А дома –
растет до ужина
свирепость мужа.
У донна Лопеца
терпенье лопается.
То крик,
то стон
испускает дон.
Гремит
по квартире
тигровый соло:
– На восемь частей разрежу ее! –
И, выдрав из уса
в два метра волос,
он пробует
сабли своей острие.
– Скажу ей:
«Иначе, сеньора, лягте-ка!
Вот этот
кольт
ваш сожитель до гроба!» –
И в пумовой ярости
– все-таки практика! –
сбивает
с бутылок
дюжину пробок.
Гудок в два тона –
приехала донна.
Еще
и рев
не успел уйти
за кактусы

ближнего поля,
а у шоферских
виска и груди
нависли
клинок и пистоля.
– Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб донна
не могла
запираться,
ответь немедленно,
где была
жена моя
Эсперанца?
– О дон Хуан!
В вас дьяволы злобятся.
Не гневайте
божью милость.
Донна Эсперанца
Хуан-де-Лопец
сегодня
усердно
молилась.
МЕКСИКА – НЬЮ-ЙОРК
Бежала
Мексика
от буферов
горящим,
сияющим бредом.
И вот
под мостом
река или ров,
делящая
два Ларедо.
Там доблести –
скачут,
коня загоня,
в пятак
попадают
из кольца,
и скачет конь,
и брюхо коня
о колкий кактус исколото.
А здесь
железо –
не расшатать!
Ни воли,
ни жизни,
ни нерва вам!
И сразу
рябит
тюрьма решета
вам
для знакомства
для первого.
По рельсам
поезд сыпет,
под рельсой
шпалы сыпятся.
И гладью
Миссисипи
под нами миссисипится.
По бокам
поезда
не устанут сноваť:
или хвост мелькнет,
или нос.
На боках поездных

страновеют слова:

«Сан-Луис»,

«Мичиган»,

«Иллинойс»!

Дальше, поезд,
огнями расцвеченный!

Лез,

обгоняет,

храпит.

В Нью-Йорк несется

«Твенти сенчери

экспресс»;

Курьерский!

Рapid!

Кругом дома,

в этажи затеряв

путей

и проволок множь.

Теряй шапчонку,

глаза задеря,

все равно –

ничего не поймешь!

БРОДВЕЙ

Асфальт – стекло.

Иду и звеню.

Леса и травинки –

сбриты.

На север

с юга

идут авеню,

на запад с востока –

стриты.

А между –

(куда их строитель завез!) –

дома

невозможной длины.

Одни дома

длиною до звезд,

другие –

длиной до луны.

Янки

подошвами шлепать

ленив:

простой

и курьерский лифт.

В 7 часов

человечий прилив,

в 17 часов –

отлив.

Скрежещет механика,

звон и гам,

а люди

немые в звоне.

И лишь замедляют

жевать чуингам,

чтоб бросить:

«Мек моней?»

Мамаша

грудь

ребенку дала.

Ребенок

с каплями из носу,

сосет

как будто

не грудь, а доллар –

занят

серьезным

бизнесом.

Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю –
бери собвей,
на небо –
бери элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максвел
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать.
ну, я доложу вам –
пламечко!
Налево посмотришь –
мамочка мать!
Направо –
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ
Вид индейцев таков:
пернат,
смешон
и нездешен.
Они
приезжают
из первых веков
сквозь лязг
«Пенсильвэния Стейшен».
Им
Кулиджи
пару пальцев суют.
Снимают
их

голливудцы.
На крыши ведут
в ресторанный уют.
Под ними,
гульбу разгудевши свою,
ньюйоркские улицы льются.
кто их радует?
чем их злят?
О чем их дума?
куда их взгляд?
Индейцы думают:
«Ишь –
капитал!
Ну и дома застроил.
Все отберем
ни за пятак
при
социалистическом строе.
Сначала
будут
бои klokotать.
А там
ни вражды,
ни начальства!
Тишь
да гладь
да божья благодать –
сплошное луначарство.
Иными
рейсами
вспенятся воды;
пойдут
пароходы зажаривать,
сюда
из Москвы
возить переводы
произведений Жарова.
И радио –
только мгла легла –
правду-матку вызвенит.
Придет
и расскажет
на весь вигвам,
в чем
красота
жизни.
И к правде
пойдет
индейская рать,
вздымаясь
знаменной уймою...»
Впрочем,
зачем
про индейцев врать?
Индейцы
про это
не думают.
Индеец думает:
«Там,
где черно
воде
у моста в оскале,
плескался
недавно
юркий челнок
деда,
искателя скальпов.
А там,

где взвизг
этажей коробок
и жгут
миллион киловатт, –
стоял
индейский
военный бог,
брюхат
и головат.
И все,
что теперь
вокруг течет,
все,
что отсюда видимо, –
все это
вытворил белый черт,
заморская
белая ведьма.
Их
всех бы
в лес прогнать
в одни,
и мы чтоб
с копьем гонялись...»
Поди
под такую мысль
подведи
классовый анализ.
Мысль человечья
много сложнее,
чем знают
у нас
о ней.
Тряхнув
оперенья нарядную рядь
над пастью
облошаделой,
сошли
и – пока!
пошли вымирать.
А что им
больше
делать?
Подумай
о новом агит-винте.
Винти,
чтоб задор не гас его.
Ждут.
Переводи, Коминтерн,
расовый гнев
на классовый.
НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ
Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидишь –
старейшие
норки да каморки –
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый –
ювелиры,
караул бессменный,
замок

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
зацепился ставням о бровь.

В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий –
спят бюро-конторы.
Есть
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
ЗОЛОТОМ
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
приданные сорочки,
МИСС
перезрелая
в мечте о женихах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.
Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,
силы сберегши
спортом смолоду,
сэр
своей законной МИССИС,
узнав об измене,
кровавит морду.
Десятый.
Медовый.
Пара легла.
Счастливей,
чем Ева с Адамом были.
Читают
в «Таймсе»
отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».
Тридцатый.
Акционеры
сидят увлечены,
делят миллиарды,
жадны и озабочены.
Прибыль
треста
«изготовление ветчины
из лучшей
дохлой
чикагской собачины».
Сороковой.
У спальни
опереточной дивы.
В скважину
замочную,
сосредоточив прыть,
чтоб Кулидж дал развод,
детективы
мужа
должны

в кровати накрыть.
Свободный художник,
рисующий задочки,
дремлет в девяностом,
думает одно:
как бы ухажнуть
за хозяйской дочкой –
да так,
чтоб хозяину
всучить полотно.
А с крыши стаял
скатертный снег.
Лишь ест
в ресторанной выси
большие крохи
уборщик – негр,
а маленькие крошки –
крысы.
Я смотрю,
и злость меня берет
на укывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.
ПОРЯДОЧНЫЙ ГРАЖДАНИН
Если глаз твой
врага не видит,
пыл твой выпили
нэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть, –
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.
Чтобы, в мили улиц опутан,
в боли игл
фонарных ежей,
ты прошел бы
со мной
лилипупом
у подножия
их этажей.
Видишь –
вон
выгребают мусор –
на обедках
с детьми пронянчиться,
чтоб в авто,
обгоняя «бусы»,
ко дворцам
неслись бриллиантщицы.
Загляни
в окошки в эти –
здесь
наряд им вышили княжий.
Только
сталью глушит элевейтер
хрип
и кашель
чахотки портняжей.
А хозяин –
липкий студень –
с мордой,
вспухшей на радость чирю,
у работницы
щупает груди:

«Кто понравится –
удочерю!
Двести дам
(если сотни мало),
грусть
сгоню
навсегда с очей!
Будет
жизнь твоя –
Куни-Айланд,
луна-парк
в миллиард свечей».
Уведет –
а назавтра
зверья,
волчья банда
бесполох старух
проститутку –
в смолу и в перья,
и опять
в смолу и в пух.
А хозяин
в отеле Плаза,
через рюмку
и с богом сблизясь,
закатил
в поднебесье глазки:
«Сенк ю
за хороший бизнес!»
Успокойтесь,
вне опасения
ваша трезвость,
нравственность,
дети,
барабаны
«армий спасения»
вашу
в мир
трубят добродетель.
БОГ
на вас
не разукоризнится:
с вас
и маме их –
на платок,
и ему
соберет для ризницы
божий менаджер,
поп Платон.
Клоб полиций
на вас не свалится.
Чтобы ты
добрел, как кулич,
смотрит сквозь холеные пальцы
на тебя
демократ Кулидж.
И, елозя
по небьим сводам
стражем ханжества,
центов
и сала,
пялит
руку
ваша свобода
над тюрьмою
Элис-Айланд.
ВЫЗОВ
Горы злобы

аж ноги гнут.
Даже
шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь.
Оседая,
влезает злоба.
Весь в огне.
Стою на Риверсайде.
Сбоку
фордами
штурмуют мрака форт.
Небоскребы
локти скручивают сзади,
впереди
американский флот.
Я смеюсь
над их атакою тройною.
Ники Картеры
мою
недоглядели визу.
Я
полпред стиха –
и я
с моей страной
вашим штатишкам
бросаю вызов.
Если
кроха протухла,
плеснитса,
выбрось
весь
прогнивший кус.
Сплюнул я,
не доев и месяца
вашу доблесть,
законы,
вкус.
Посылаю к чертям свинячим
все доллары
всех держав.
Мне бы
кончить жизнь
в штанах,
в которых начал,
ничего
за век свой
не стяжав.
Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цинизмом поражен!
Мы целуем
– беззаконно! –
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.
День наш
шумен.
И вечер пышен.
Шлите
сыщиков
в щелки слушать.
Пьем,
плюя
на ваш прогибишен,
ежедневную

«Белую лошадь».

Вот и я
стихом побрататься
прикатил и вбиваю мысли,
не боящиеся депортаций:
ни сослать их нельзя
и не выселить.
Мысль
сменяют слова,
а слова –
дела,
и глядишь,
с небоскребов города,
раскачав,
в мостовые
вбивают тела –
Вандерлипов,
Рокфеллеров,
Фордов.
Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,
выступает,
порфирой надев Бродвей,
капитал –
его препохабие.
АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ
Петров
Капланом
за пуговицу пойман.
Штаны
заплатаны,
как балканская карта.
«Я вам,
сэр,
назначаю апойнтман.
Вы знаете,
кажется,
мой апартман?
Тудой пройдете четыре блока,
потом
сюдой дадите крен.
А если
стриткара набита,
около
можете взять
подземный трен.
Возьмите
с меняньем пересядки тикет
и прите спокойно,
будто в телеге.
Слезете на корнере
у дрогс ликет,
а мне уж
и пинту
принес бутлегер.
Приходите ровно
в севен о клонк, –
поговорим
про новости в городе
и проведем
по-московски вечерок, –
одни свои:
жена да бордер.
А с джабом завозитесь в течение дня

или
раздумаете вовсе –
тогда
обязательно
отзвоните меня.
Я буду
в офисе».
«Гуд бай!» –
разнеслось окрест
и кануло
ветру в свист.
Мистер Петров
пошел на Вест
а мистер Каплан –
на Ист.
Здесь, извольте видеть, «джаб»,
а дома
«цуп» да «цус».
С насыпи
язык
летит на полном пуске.
Скоро
только очень образованный
француз
будет
кое-что
соображать по-русски.
Горланит
по этой Америке самой
стоязыкий
народ-оголтец.
Уж если
Одесса – Одесса-мама,
то Нью-Йорк –
Одесса-отец.
БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ
Бродвей сдурел.
Бегня и гулево.
Дома
с небес обрываются
и висят.
Но даже меж ними
заметишь Вульворт.
Корсетная коробка
этажей под шестьдесят.
Сверху
разведывают
звезд взводы,
в средних
тайпистки
стрекочут бешено.
А в самом нижнем –
«Дрогс сода,
грет энд феймус компани-нейшенал».
А в окошке МИСС
семнадцати лет
сидит для рекламы
и точит ножи.
Ржавые лезвия
фирмы «Жиллет»
кладет в патентованный
железный зажим
и гладит
и водит
кожей ремня.
Хотя
усов
и не полагается ей,

но водит
по губке,
усы возомня, –
дескать –
готово,
наточил и брей.
Наточит один
до сияния лучика
и новый ржавый
берет для возни.
Наточит,
вынет
и сделает ручкой.
Дескать –
зайди,
купи,
возьми.
Буржуем не сделаешься с бритвенной точки.
Бегут без бород
и без выражений на лице.
Богатств буржуйских особые источники:
работай на доллар,
а выдадут цент.
У меня ни усов,
ни долларов,
ни шевелюр, –
и в горле
застревают
английского огрызки.
Но я подхожу
и губами шевелю –
как будто
через стекло
разговариваю по-английски.
«Сидишь,
глазами буржуев охлопана.
Чем обнадежена?
Дура из дур».
А девушке слышится:
«Опен,
опен ди дор».
«Что тебе заботиться
о чужих усах?
Вот...
посадили...
как дуру еловую».
А у девушки
фантазия раздувает паруса,
и слышится девушке:
«Ай лов ю».
Я злею:
«Выдь,
окно разломай, –
а бритвы раздай
для жирных горл».
Девушке мнится:
«Май,
май горл».
Выходит
фантазия из рамок и мерок –
и я
кажусь
красивый и толстый,
И чудится девушке –
влюбленный клерк
на ней
жениться
приходит с Волстрит.

И верит мисс,
от счастья дрожа,
что я –
долларовый воротила,
что ей
уже
в других этажах
готовы бесплатно
и стол
и квартира.
Как врезать ей
в голову
мысли-ножи,
что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства..
БРУКЛИНСКИЙ МОСТ
Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материйка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, –
так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиранный, на Бруклинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках – жерлом
жирафу под рост –
так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезая,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжело ему
и высоко,

и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении окон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому –
тихому зуду
поймешь –
поезда
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки начатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник, –
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальной милей,
живьем в ней
мои видения встали –
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света –
планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
– Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.

Напомнит
машину
ребро вот это –
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангетен,
к себе
за губу
притягивать Бруклин?
По проводам
электрической пряди –
я знаю –
эпоха
после пара –
здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним – беззаботная,
другим –
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам – канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу –
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам. –
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бруклинский мост –
да...
Это вещь!
100 %
Шеры...
облигации...
доллары...
центы...
В винницкой глуши тьмутараканясь,
так я рисовал,
вот так мне представлялся
стопроцентный
американец.
Родила сына одна из жен.
Отвернув
пеленочный край,
акушер демонстрирует:
Джон как Джон.

Ол райт!
Девять фунтов,
глаза –
пяточки.
Ощерив зубовой ряд,
отец
протер
роговые очки:
Ол райт!
Очень прост
воспитанья вопрос.
Ползает,
лапы марает.
Лоб расквасил –
ол райт!
нос –
ол райт!
Отец говорит:
«Бездельник Джон.
Ни цента не заработал,
а гуляет!»
Мальчишка
Джон
выходит вон.
Ол райт!
Техас,
Калифорния,
Массачузэт.
Ходит
из края в край.
Есть хлеб –
ол райт!
нет –
ол райт!
Подрос,
поплевывает слюну.
Трубчонка
горит, не сгорает.
«Джон,
на пари,
пойдешь на луну?»
Ол райт!
Одну полюбил,
назвал дорогой.
В азарте
играет в рай.
Она изменила,
ушел к другой.
Ол райт!
Наследство Джону.
Расходов –
рой.
Миллион
растаял от трат.
Подсчитал,
улыбнулся –
найдем второй.
Ол райт!
Работа.
Хозяин –
лапчатый гусь –
обкрадывает
и обирает.
Джон
намотал
на бритый ус.
Ол райт!
Хозяин выгнал.

Ну, что ж!
Джон
рассчитаться рад.
Хозяин за кольт,
а Джон за нож.
Ол райт!
Джон
хозяйской пулей сражен.
Шепчутся:
«Умирает».
Джон услышал,
усмехнулся Джон.
Ол райт!
Гроб.
Квадрат прокопали черный.
Земля –
как по крыше град.
Врыли.
Могильщик
вздыхнул облегченно.
Ол райт!
Этих Джонов
нету в Нью-Йорке.
Мистер Джон,
жена его
и кот
зажирели,
спят
в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.
Я разбезалаберный до крайности,
но судьбе
не любящий
учтиво кланяться,
я,
поэт,
и то американистей
самого что ни на есть
американца.
КЕМП «НИТ ГЕДАЙГЕ»
Запретить совсем бы
ночи – негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу, –
палатка
в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мне все это.
Не к чему...
и жаль...
Взвоят
и замрут сирены над Гудзоном,
будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...
Прямо
перед мордой
пролетает вечность –
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
и в белье, конечно,
если б время
ткало
не часы,
а холст.
Впречь бы это
время
в приводной бы ремень, –
спустят
с холостого –
и чеши и сыпь!
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало часы.
Ну, американец...
тоже...
чем гордится.
Втер очки Нью-Йорком.
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши –
только и всего.
Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною –
во сто лет.
Что ж,
с мостища с этого
глядим с презрение
Кверху нос задрали?
загордились?
Нет.
Мы
ничьей башки
мостами не морочим.
Что такое мост?
Приспособленье для простуд.
Тоже...
без домов
не проживете очень
на одном
таком
возвышенном мосту.
В мире социальном
те же непорядки:
три доллара за день,
на –
и отвяжись.
А у Форда сколько?
Что игратья в прятки!
Ну, скажите, Кулидж, –
разве это жизнь?
Много ль
человеку
(даже Форду)
надо?
Форд –
в миллионах фордов,
сам же Форд –
в аршин.
Мистер Форд,
для вашего,
для высохшего зада

разве мало
двух
просторнейших машин?
Лишек –
в М. К. Х.
Повесим ваш портретик.
Монумент
и то бы
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
вас
случайно встретив.
Мистер Форд –
отдайте!
Дасть он...
Черта с два!
За палаткой
мир
лежит угрюм и темен.
Вдруг
ракетой сон
звенит в унынье в это:
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
полночь-негодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
ЭТО
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.
ДОМОЙ!
Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен, –
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают –
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги –
поживи для шику –
нет,

интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом –
низом шахт,
серпов
и вил, –
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.
Все равно –
сослался сам я
или послан к маме –
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?
Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал

доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»
1925

Стихотворения 1926 года
СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Вы ушли,
как говорится,
в мир в иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом –
не смешок.
Вижу –
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
– Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
– Этому вина
то...
да се...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. –
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?

Класс – он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов –
стали б
содержанием
премного одаренней.
Вы бы
в день
писали
строк по сто,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы
загонять колом –
разве так
поэта
надо бы почтить?

Вам
и памятник еще не слит, –
где он,
бронзы звон
или гранита грань? –
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой –
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
– Не позволю
мямлить стих
и мять! –
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
тьму
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много –
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав –
можно воспевать.
Это время –
трудновато для пера,
но скажите,
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легче?
Слово –
полководец
человечьей силы.

Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.
МАРКСИЗМ – ОРУЖИЕ, ОГНЕСТРЕЛЬНЫЙ МЕТОД. ПРИМЕНЯЙ УМЕЮЧИ МЕТОД ЭТОТ!
Штыками
двух столетий стык
закрепляет
рабочая рать.
А некоторые
употребляют штык,
чтоб им
в зубах ковырять.
Все хорошо:
поэт поет,
критик
занимается критикой.
У стихотворца –
корытце свое,
у критика –
свое корытико.
Но есть
не имеющие ничего,
окромя
красивого почерка.
А лезут
в книгу,
хваля
и громя
из пушки
критического очерка.
А чтоб
имелось
научное лицо
у этого
вздора злопыханного –
всегда
на столе
покрытый пыльцой
неразрезанный том
Плеханова.
Зазубрит фразу
(ишь, ребятае!)
и ходит за ней,
как за няней.
Бытье –
а у этого – еда и питье
определяет сознание.
Перелистывая
авторов
на букву «эл»,

фамилию
Лермонтова
встретя,
критик выясняет,
что он ел
на первое
и что – на третье.
– Шампанское пил?
Выпивал, допустим.
Налет буржуазный густ.
А его
любовь
к маринованной капусте
доказывает
помещичий вкус.
В Лермонтове, например,
чтоб далеко не идти,
смысла
не больше,
чем огурцов в акации.
Целые
хоры
небесных светил,
и ни слова
об электрификации.
Но,
очищая ядро
от фразерских корок,
бобы –
от шелухи лиризма,
признаю,
что Лермонтов
близок и дорог
как первый
обличитель либерализма.
Массам ясно,
как ни хитри,
что, милюковски юля,
светила
у Лермонтова
ходят без ветрил,
а некоторые –
и без руля.
Но так ли
разрабатывать
важнейшую из тем?
Индивидуализмом пичкать?
Демоны в ад,
а духи –
в эдем?
А где, я вас спрашиваю, смычка?
Довольно
этих
божественных легенд!
Любою строчкой вырванной
Лермонтов
доказывает,
что он –
интеллигент,
к тому же
деклассированный!
То ли дело
наш Степа
– забыл,
к сожалению,
фамилию и отчество, –
у него
в стихах

Коминтерна топот...
Вот это –
настоящее творчество!
Степа –
кирпич
какого-то здания,
не ему
разговаривать вкось и вкривь.
Степа
творит,
не затемняя сознания,
без волокиты аллитераций
и рифм.
У Степы
незнание
точек и запятых
заменяет
инстинктивный
массовый разум,
потому что
батрачка –
мамаша их,
а папаша –
рабочий и крестьянин сразу. –
В результате
вещь
ясней помидора
обволакивается
туманом сизым,
и эти
горы
нехитрого вздора
некоторые
называют марксизмом.
Не говорят
– о веревке
в журнале повешенного,
не изменить
шаблона прилежного.
Лежнев зарадуется –
«он про Вешнева».
Вешнев
– «он про Лежнева».
ЧЕТЫРЕХЭТАЖНАЯ ХАЛТУРА
В центре мира
стоит Гиз –
оправдывает штаты служебный раж.
Чтоб книгу
народ
зубами грыз,
наворачивается
миллионный тираж.
Лицо
тысячеглазого треста
блестит
электричеством ровным.
Вшивают
в Маркса
Аверченковы листы,
выписывают гонорары Цицеронам.
Готово.
А зав
упрется назавтра
в заглавие,
как в забор дышлом.
Воедино
сброшировано
12 авторов!

– Как же это, родимые, вышло??–

Темь

подвалов

тиражом беля,

залегает знание –

и лишь

бегаёт

по книжным штабелям

жирная провинциалка –

мышь.

А читатели

сидят

в своей уездной яме,

иностранным упиваются,

мозги щадя.

В Африки

вослед за Бенуями

улетают

на своих жилплощадях.

Званье

– «пролетарские» –

нося как эполеты,

без ошибок

с Пушкина

списав про весны,

выступают

пролетарские поэты,

развернув

рулоны строф поверстных.

Чем вы – пролетарий,

уважаемый поэт?

Вы

с богемой слились

9 лет назад.

Ну, скажите,

уважаемый пролет, –

вы давно

динаму

видели в глаза?

– Извините

нас,

сермяжных,

за стишонок неудачненький.

Не хотите

под гармошку поплясать ли?–

Это,

в лапти нарядившись,

выступают дачники

под заглавием

– крестьянские писатели.

О, сколько нуди такой городимо,

от которой

мухи падают замертво!

Чего только стоит

один Радимов

с греко-рязанским своим гекзаметром!

Разлунивши

лысины лачки,

убежденно

взявши

ручку в ручки,

бороденок

теребя пучки,

честно

пишут про Октябрь

попутчики.

Раньше

маленьким казался и Лесков –

рядышком с Толстым
почти не виден.
Ну, скажите мне,
в какой же телескоп
в те недели
был бы виден Лидин?!

– На Руси
одно веселье –
питы...–
А к питью
подай краюху
и кусочек сыру.
И орут писатели
до хрипоты
о быте,
увлекаясь
бытом
госиздатовских кассиров.
Варят чепуху
под клубы
трубочного дыма –
всякую уху
сожрет
читатель-фока.
А неписанная жизнь
проходит
мимо
улицей фыркающих окон.
А вокруг
скачут критики
в мыле и пене:
– Здорово пишут писатели, братцы!
– Гений-Казин,
Санников-гений...
Все замечательно!
Рады стараться!–
С молотка
литература пущена.
Где вы,
сеятели правды
или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина:
Гиза,
критика,
читаки
и писателя.
Нынче
стала
зелень веток в редкость,
гол
литературы ствол.
Чтобы стать
поэту крепкой веткой –
выкрепите мастерство!
РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ
Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих

лабазы и угожья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните –
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно
явление «рифмы».
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца.
Говоря по-вашему,
рифма –
вексель.
Учесть через строчку! –
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений.
Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет –
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма –
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка –
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, –
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пятюк

небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэле.
И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
– Поэзия
– вся! –
езда в незнаемое.
Поэзия –
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно,
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!
Тянет,
как фокусник,
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!
Строчку
чужую
вставит – и рад.
Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомяе ревя,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами –
двумя или тремя.
Пуд,
как говорится,
соли столовой
съешь
и сотней папирос клуби,
чтобы
добыть
драгоценное слово

из артезианских
людских глубин.
И сразу
ниже
налога рост.
Скиньте
с обложенья
нуля колесо!
Рубль девяносто
сотня папирос,
рубль шестьдесят
столовая соль.
В вашей анкете
вопросов масса:
– Были выезды?
Или выездов нет?–
А что,
если я
десяток пегасов
загнал
за последние
15 лет?!
У вас –
в мое положение войдите –
про слуг
и имущество
с этого угла.
А что,
если я
народа водитель
и одновременно –
народный слуга?
Класс
гласит
из слова из нашего,
а мы,
пролетарии,
двигатели пера.
Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят:
– в архив,
исписался,
пора!–
Все меньше любитя,
все меньше дерзается,
и лоб мой
время
с разбега крушит.
Приходит
страшнейшая из амортизаций –
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, –
я
уже
сгнию,
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите

мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и – знаю – не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
– один!–
в непролазном долгу.
Долг наш –
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на горе
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии –
перед всем,
про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы – целься рифмой
и ритмом яриться?
Слово поэта –
ваше воскресение,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.
Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в энкапез
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет!
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
И сегодня
рифма поэта –
ласка,

и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делов –
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило,
и можете
писать
сами!
ПЕРЕДОВАЯ ПЕРЕДОВОГО
Довольно
сонной
расслабленной праздности,
Довольно
kozyрянья
в тысячи рук!
Республика искусства
в смертельной опасности;
В опасности краска,
слово,
звук.
Громы
зажаты
у слова в кулаке,
А слово
зовется
только с тем
что б кланялось
событью
слово – лакей
что б слово плелось
у статей в хвосте.
Брось дрожать
за шкуры скряжи!
Вперед забегайте,
не боясь суда!
Зовите рукой
с грядущих кряжей:
– Пролетарий
сюда! –
Полезли
одиночки
из миллионной давки:
– Такого, мол,
другого
не увидишь в жисть! –
Каждый
рад
подставить бородавки
Под увековечливую
ахровскую кисть.
Вновь

своя рубаха
ближе к телу?
А в нашей работе
то и ново –
что в громаде
класс которую сделал
не важно
сделанное
Петровым и Ивановым.
Разнообразны
души наши:
для боя гром
для кровати –
шопот.
А у нас
для любви и для боя –
марши.
Извольте
под марш
к любимой шлепать!
Почему
теперь
про чужое поем
изъясняемся
ариями
Альфреда и Травиаты?
и любви
придумаем
слово свое
из сердца сделанное,
а не из ваты.
В годы голода
стужи злюки
Разве
филармонии играли окрест?
Нет
свои
баррикадные звуки
Нашел
гудков
медногорлый оркестр.
Старью
революцией
поставлена точка.
Живите под охраной
музейных оград.
Но мы
не предадим
кустарям-одиночкам
Ни лозунг,
ни сирену,
ни кино-аппарат.
Наша
в коммуны
не иссякнет вера
Во имя коммуны
жмись и мнись!
Каждое
сегодняшнее дело
меряй
Как шаг
в электрический
в машинный коммунизм.
Довольно домашней
кустарной праздности!
Довольно
изделий ловких рук!
Федерация искусств

в смертельной опасности
В опасности слово
краска
и звук.
ВЗЯТОЧНИКИ
Дверь. На двери –
«Нельзя без доклада»
Под Марксом,
в кресло вкресленный,
с высоким окладом,
высок и гладок,
сидит
облеченный ответственный.
На нем
контрабандный подарок – жилет,
в кармане –
ручка на страже,
в другом
уголочком торчит билет
с длиннющим
подчищенным стажем.
Весь день –
сплошная работа уму.
На лбу –
непролазная дума:
кому
ему
устроить куму,
кому приспособить кума?
Он всюду
пристроил
мелкую сошку,
езде
у него
по лазутчику.
Он знает,
кому подставить ножку
и где
иметь заручку.
Каждый на месте:
невеста –
в тресте,
кум –
в Гум,
брат –
в наркомат.
Все шире периферия родных,
и
в ведомостичках узких
не вместишь
всех сортов наградных –
спецставки,
тантьемы,
нагрузки!
Он специалист,
но особого рода:
он
в слове
мистику стер.
Он понял буквально
«братство народов».
как счастье братьев,
тетя
и сестер.
Он думает:
как сократить ему штаты?
У Кэт
не глаза, а угли...

А может быть,
место
оставить для Наты?
У Наты формы округлей.
А там
в приемной –
сдержанный гул,
и воздух от дыма спирается.
Ответственный жмет плечьями:
– Не могу!
Нормально...
дела разбираются!
Зайдите еще
через день-другой... –
Но дней не дожидаться жданных.
Напрасно
проситель
согнулся дугой.
– Нельзя...
Не имеется данных! –
Пока поймет!
Обшаркав паркет,
порывшись в своих чемоданах,
проситель
кладет на суконце пакет
с листами
новейших данных.
Простился.
Ладонью пакет заслоня
– взрумянились щеки – пончики, –
со сладострастием,
пальцы слюня,
мерзавец
считает червончики.
А давший
по учрежденю орет,
от правильной гневности красен:
– Подать резолюцию! –
И в разворот
– во весь! –
на бумаге:
«Согласен»!
Ответственный
мчит
в какой-то подъезд.
Машину оставил
по праву.
Ответственный
ужин с любовницей ест
ответственный
хлещет «Абрау».
Любовницу щиплет,
весел и хитр.
– Вот это
подарочки Сонечке:
Вот это, Сонечка,
вам на духи.
Вот это
вам на кальсончики... –
Такому
в краже рабочих тыщ
для ширмы октябрьское зарево.
Он к нам пришел,
чтоб советскую нищ
на кабаки разбазаривать.
Я
белому
руку, пожалуй, дам,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
пожму, не побрезгав ею.
Я лишь усмехнусь:
– А здорово вам
наши
намылили шею! –
Укравшему хлеб
не потребуешь кар.
Возможно
простить и убийце.
Быть может, больной,
сумасшедший угар
в душе
у него
клубится.
Но если
скравший
этот вот рубль
ладонью
ладонь мою тронет,
я, руку помыв,
кирпичом ототру
поганую кожу с ладони.
Мы белым
едва обломали рога;
хромает
пока что
одна нога, –
для нас,
полусытых и латочных,
страшней
и гаже
любого врага
взяточник.
Железный лозунг
партией дан.
Он нам
недешево дался!
Долой присосавшихся
к нашим
рядам
и тех,
кто к грошам
присосался!
Нам строиться надо
в гигантский рост,
но эти
обсели кассы.
Каленым железом
выжжет нарост
партия
и рабочие массы.
В ПОВЕСТКУ ДНЯ
Ставка на вас,
комсомольцы-товарищи, –
на вас,
грядущее творящих!
Петь
заставьте
быт тарабарящий!
Расчистьте
квартирный ящик!
За десять лет –
устанешь бороться, –
расшатаны
– многие! –
тряской.
Заплыло
тиной

быта болотце,
покрылось
будничной ряской.
Мы так же
сердца наши
ревностью жжем –
и суд наш
по-старому скорый:
мы
часто
наганом
и финским ножом
решаем –
любовные споры.
Нет, взвидя,
что есть
любовная ржа,
что каши вдвоем
не сварить, –
ты зубы стиснь
и, руку пожав,
скажи:
– Прощевай, товарищ! –
У скольких
мечта:
«Квартирку б внаем!
Свои сундуки
да клетки!
И угол мой
и хозяйство мое –
и мой
на стене
портретик».
Не наше счастье –
счастье вдвоем!
С классом
спаяйся четко!
Коммуна:
все, что мое, –
твое,
кроме –
зубных щеток.
И мы
по-прежнему,
если радостно,
по-прежнему,
если горе нам –
мы
топим горе в сорокаградусной
и празднуем
радость
трехгорным.
Питье
на песни б выменять нам.
Такую
сделай, хоть тресни!
Чтоб пенистой пива,
чтоб крепче вина
хватали
за душу
песни.
Гуляя,
работая,
к любимой льня, –
думай о коммуне,
быть или не быть ей?!
В порядок
этого

майского дня
поставьте
вопрос о быте.
ПРОТЕКЦИЯ
Обывателиада в 3-х частях
1
Обыватель Михин –
друг дворничихин.
Дворник Службин
с Фелицией в дружбе.
У тети Фелиции
лицо в милиции.
Квартхоз милиции
Федор Овечко
имеет
в совете
нужного человечка.
Чин лица
не упомнишь никак:
главшвейцар
или помистопника.
А этому чину
домами знакома
мамаша
машинистки секретаря райкома.
У дочки ее
большущие связи:
друг во ВЦИКе
(шофер в автобазе!),
а Петров, говорят,
развозит мужчину,
о котором
все говорят шепоточком, –
маленького роста,
огромного чина.
Словом –
он...
Не решаюсь...

Точка.
2
Тихий Михин
пойдет к дворничихе.
«Прошу покорненько,
попросите дворника».
Дворник стукнется
к тетке заступнице.
Тетка Фелиция
шушукнет в милиции.
Квартхоз Овечко
замолвит словечко.
А главшвейцар –
Да Винчи с лица,
весь в бороде,
как картина в раме, –
прямо
пойдет
к машинисткиной маме.
Просьбу
дочь
предает огласке:
глазки да ласки,
ласки да глазки...
Кого не ловили на такую аферу?
Куда ж удержаться простаку-шоферу!
Петров подождет,
покамест,
как солнце,
персонье лицо расперсонится:

– Простите, товарищ,
извинений тысячка...
И просит
и молит, ласковой лани.
И чин снисходит:
– Вот вам записочка. –
А в записке –
исполнение всех желаний.
З
А попробуй –
полазий
без родственных связей!
Покроют дворники
словом черненьким.
Обложит белолица
тетя Фелиция.
Подвернется нога,
перервутся нервы
у взвидевших наган
и усы милиционеров.
В швейцарской судачат:
– И не лезь к совету
все на даче,
никого нету. –
И мама сама
и дитя-машинистка,
невинность блюдя,
не допустят близко.
А разных главных
неуловимо
шоферы
возят и возят мимо.
Не ухватишь –
скользкие, –
не люди, а налимь.
«Без доклада воспрещается».
Куда ни глянь,
«И пойдут они, солнцем палимы,
И застонут»...
Дело дрянь!
Кто бы ни были
сему виновниками
– сошка маленькая
или крупный кит, –
разорвем
сплетенную чиновниками
паутину кумовства,
протекций,
волокит.
ЛЮБОВЬ
Мир
опять
цветами оброс,
у мира
весенний вид.
И вновь
встает
нерешенный вопрос –
о женщинах
и о любви.
Мы любим парад,
нарядную песню.
Говорим красиво,
выходя на митинг.
Но часто
под этим,
покрытый плесенью,
старенький-старенький бытик.

Поет на собрание:

«Вперед, товарищи...»

А дома,
забыв об арии сольной,
орет на жену,
что щи не в наваре
и что
огурцы
плоховато просолены.
Живет с другой –
киоск в ширину,
бельем –
шантанная дива.
Но тонким чулком
попрекает жену:
– Компрометируешь
пред коллективом. –
То лезут к любой,
была бы с ногами.
Пять баб
переменит
в течение суток.
У нас, мол,
свобода,
а не моногамия.
Долой мещанство
и предрассудок!
С цветка на цветок
молодым стрекозлом
порхает,
летает
и мечется.
Одно ему
в мире
кажется злом –
это
алиментщица.
Он рад умереть,
экономя треть,
три года
судиться рад:
и я, мол, не я,
и она не моя,
и я вообще
кастрат.
А любят,
так будь
монашенкой верной –
тиранит
ревностью
всякий пустяк
и мерит
любовь
на калибр револьверный,
неверной
в затылок
пулю пустя.
Четвертый –
герой десятка сражений,
а так,
что любо-дорого,
бежит
в перепуге
от туфли жениной,
простой туфли Мосторга.
А другой
стрелу любви
иначе метит,

путаает
– ребенок этакий –
уловленье
любимой
в романические сети
с повышеньем
подчиненной по тарифной
сетке..
По женской линии
тоже вам не райские скинии.
Простенького паренька
подцепила
барынька.
Он работать,
а ее
не удержать никак –
бегает за клешем
каждого бульварника.
Что ж,
сиди
и в плаче
Нилом нилься.
Ишь! –
Жених!
– Для кого ж я, милые, женился?
Для себя –
или для них? –
У родителей
и дети этакого сорта:
– Что родители?
И мы
не хуже, мол! –
Занимаются
любовью в виде спорта,
не успев
вписаться в комсомол.
И дальше,
к деревне,
быт без движеньица –
живут, как и раньше,
из года в год.
Вот так же
замуж выходят
и женятся,
как покупают
рабочий скот.
Если будет
длиться так
за годом годик,
то,
скажу вам прямо,
не сумеет
разобрать
и брачный кодекс,
где отец и дочь,
который сын и мама.
Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого старья кусок,
где шипели
матери-гусыни
и детей
стерег
– отец-гусак!
Нет.
Но мы живем коммуной

плотно,
в общежитиях
грязнеет кожа тел.
Надо
ГОЛОС
подымать за чистоплотность
отношений наших
и любовных дел.
Не отвиливай –
мол, я не венчан.
Нас
не поп скрепляет тарабарящий.
Надо
обвязать
и жизнь мужчин и женщин
словом,
нас объединяющим:
«Товарищи».
ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ
Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски –
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,
мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого –
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые –
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
предоставят слово –
я это слово возьму
и скажу:
– Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.
А мне
в действительности
единственное надо –
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напостовской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
– Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... –
А я, по-вашему, что –
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нудовой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделай одолжение,
а ну, давай!
Есть
перед нами
огромная работа –
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества,
я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуноу
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,
что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,

наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему –
утверждаю без авторской спеси –
коммуна –
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам –
мы
почитаем поэта гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого –
самым красным Гейнем.
Одного боюсь –
за вас и сам, –
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остаётся делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи
– моя, мол, поэзия –
мой лабаз! –
все, что я сделал,
все это ваше –
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
что может быть
капризней славы
и пепельней?
В гроб, что ли,

брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!
Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется –
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.
ФАБРИКА БЮРОКРАТОВ
Его прислали
для проведения режима.
Средних способностей.
Средних лет.
В мыслях – планы.
В сердце – решимость.
В кармане – перо
и партбилет.
Ходит,
распоряжается энергичным жестом.
Видно –
занимается новая эра!
Сам совался в каждое место,
всех переглядел –
от зава до курьера.
Внимательный
к самым мельчайшим крохам,
вздувает
сердечный пыл...
Но бьются
слова,
как об стену горохом,
об –
канцелярские лбы.
А что канцелярии?
Внимает, мошенница!
Горите
хоть солнца ярче, –
она
уложит
весь пыл в отношеньица,
в анкетку
и в циркулярчик.
Бумажку
встречать
с отвращением нужно.
А лишь
увлечешься ею, –

то через день
голова заталмужена
в бумажную ахинею.
Перепишут все
и, канителью исходящей нитью,
на доклады
с папками идут:
– Подпишитесь тут!
Да тут вот подмахнитесь!..
И вот тут, пожалуйста!..
И тут!..
И тут!.. –
Пыл
в чернила уплыл
без следа.
Пред
в бумагу
всосался, как клещ..
Среда –
это
паршивая вещь!!
Глядел,
лицом
белее мела,
сквозь канцелярский мрак.
Катился пот,
перо скрипело,
рука свелась
и вновь корпела, –
но без конца
громадой белой
росла
гора бумаг.
Что угодно
подписью подляпает,
и не разберясь:
куда,
зачем,
кого?
Собственную
тетушку
назначит римской папою.
Сам себе
подпишет
смертный приговор.
Совести
партийной
слабенькие писки
заглушает
с днями
исходящий груз.
Раскусил чиновник
пафос переписки,
облизнулся,
въелся
и – вошел во вкус.
Где решимость?
планы?
и молодчество?
Собирает канцелярию,
загривок мыля ей.
– Разузнать
немедля
имя – отчество!
Как
такому
посылать конверт
с одной фамилией??! –

И опять
несется
мелким лайцем:
– Это так-то службу мы несем?!
Написали просто
«прилагается»
и забыли написать
«при сем»! –
В течение дня
страну наводня
потопом
ненужной бумажности,
в машину
живот
уложит –
и вот
на дачу
стремится в важности.
Пользы от него,
что молока от черта,
что от пшенной каши –
золотой руды.
Лишь растут
подвалами
отчеты,
вознося
чернильные пуды.
Рой чиновников
с недели на день
аннулирует
октябрьский гром и лом,
и у многих
даже
проступают сзади
пуговицы
дофевральские
с орлом.
Поэт
всегда
и добр и галантен,
делиться выводом рад.
Во-первых:
из каждого
при известном таланте
может получиться
бюрократ.
Вывод второй
(из фельетонной водицы
вытекал не раз
и не сто):
коммунист не птица,
и незачем обзаводиться
ему
бумажным хвостом.
Третий:
поднять бы его за загривок
от бумажек,
разостланных низом,
чтоб бумажки,
подписанные
прямо и криво,
не заслоняли
ему
коммунизм.
ТОВАРИЩУ НЕТТЕ, ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ
Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,

горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это – он.
Я узнаю его.
В блюдечках – очках спасательных кругов.
– Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте, –
в бытность человеком
ты пивал чай
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтеса –
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою –
с пароходом.
За кормой луница.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое –
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее –
на крест,
и пулю чешите:
это –
чтобы в мире

без России,
без Латвии,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах –
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу –
других желаний нету –
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.
УЖАСАЮЩАЯ ФАМИЛЬЯРНОСТЬ
Куда бы
ты
ни направил разбег,
и как ни ерзай,
и где ногой ни ступи, –
есть Марксов проспект,
и улица Розы,
и Луначарского –
переулок или тупик.
Где я?
В Ялте или в Туле?
Я в Москве
или в Казани?
Разберешься?
– Черта в стуле!
Не езда, а – наказание.
Каждый дюйм
бытия земного
профамилиен
и разыменован.
В голове
от имен
такая каша!
Как общий котел пехотного полка.
Даже пса дворняжку
вместо
«Полкаша»
зовут:
«Собака имени Полкан».
«Крем Коллонтай.
Молодит и холит».
«Гребенки Мейерхольд».
«Мочала
а-ля Качалов».
«Гигиенические подтяжки
имени Семашки».
После этого
гуди во все моторы,
наизобретай идей мешок,
все равно –
про Мейерхольда будут спрашивать:
– «Который?
Это тот, который гребешок?»
Я

к великим
не суюсь в почетнейшие лики.
Я солдат
в шеренге миллиардной.
Но и я
взываю к вам
от всех великих:
– Милые,
не обращайтесь с ними фамильярно!
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИВЫЧКИ
Я
два месяца
шатался по природе,
чтоб посмотреть цветы
и звезд огнишки.
Таковых не видел.
Вся природа вроде
телефонной книжки.
Везде –
у скал,
на массивном грузе
Кавказа
и Крыма скалоликого,
на стенах уборных,
на небе,
на пузе
лошади Петра Великого,
от пыли дорожной
до гор,
где грозы
гремят,
грома потрясав, –
везде
отрывки стихов и прозы,
фамилии
и адреса.
«Здесь были Соня и Ваня Хайлов.
Семейство ело и отдыхало».
«Коля и Зина
соединили души».
Стрела
и сердце
в виде груши.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Комсомолец Петр Парулайтис».
«Мусью Гога,
парикмахер из Таганрога».
На кипарисе,
стоящем века,
весь алфавит:
а б в г д е ж з к.
А у этого
от лазанья
талант иссяк.
Превыше орлиных зон
просто и мило:
«Исак
Лебензон».
Особенно
людей
винить не будем.
Таким нельзя
без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
привыкли люди.
Они
и на скалу
глядят, как на мандат.

Такому,
глядящему
за чаем
с балконца
как солнце
садится в чаше,
ни восход,
ни закат,
а даже солнце –
входящее
и исходящее.
Эх!
Поставь меня
часок
на место Рыкова,
я б
к весне
декрет железный выковал:
«По фамилиям
на стволах и скалах
узнать
подписавшихся малых.
Каждому
в лапки
дать по тряпке.
За спину ведра –
и марш бодро!
Подписавшимся
и Колям
и Зинам
собственные имена
стирать бензином.
А чтоб энергия
не пропадала даром,
кстати и Ай-Петри
почистить скипидаром.
А кто
до того
к подписям привык,
что снова
к скале полез, –
у этого
навсегда
закрывается лик –
без».
Под декретом подпись
и росчерк броский –
Владимир Маяковский.
ХУЛИГАН
Республика наша в опасности.
В дверь
лезет
немыслимый зверь.
Морда матовым рыком гулка,
лапы –
в кулаках.
Безмозглый,
и две ноги для ляганий,
вот – портрет хулиганий.
Матроска в полоску,
словно леса.
Из этих лесов
глядят телеса.
Чтоб замаскировать рыло мандрилье,
шерсть
аккуратно
сбрил на рыле.
Хлопья пудры

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
(«лебяжьего пуха!»),
бабочка-галстук
от уха до уха.
Души не имеется.
(Выдумка бар!)
В груди –
пивной
и водочный пар.
Обутые лодочкой
качает ноги водочкой.
Что ни шаг –
враг.
– Вдрызг фонарь,
враги – фонари.
Мне темно,
так никто не гори.
Враг – дверь,
враг – дом,
враг –
всяк,
живущий трудом.
Враг – читальня.
Враг – клуб.
Глупейте все,
если я глуп! –
Ремень в ручище,
и на нем
повисла гиря кистенем.
Взмахнет,
и гиря вертится, –
а ну –
попробуй встретиться!
По переулочкам – луна.
Идет одна.
Она юна.
– Хорошенькая!
(За косу.)
Обкрутимся без загсу! –
Никто не услышит,
напрасно орет
вонючей ладонью зажатый рот.
– Не нас контрапупят –
не наше дело!
Бежим, ребята,
чтоб нам не влетело! –
Луна
в испуге
за тучу пятится
от рваной груди
мяса и платьца.
А в ближней пивной
веселье неистовое.
Парень
пиво глушит
и посвистывает.
Поймали парня.
Парня – в суд.
У защиты
словесный зуд:
– Конечно,
от парня
уйма вреда,
но кто виноват? –
Среда.
В нем
силу сдерживать
нет моготы.
Он – русский.

Он –
богатырь!
– Добрыня Никитич!
Будьте добры,
не трогайте этих Добрынь! –
Бантиком
губки
сложил подсудимый.
Прислушивается
к речи зудимой.
Сидит
смирней и краше,
чем сахарный барашек.
И припаяет судья
(сердобольно)
«4 месяца».
Довольно!
Разве
зверю,
который взбесится,
дают
на поправку
4 месяца?
Деревню – на сход!
Собери
и при ней
словами прожги парней!
Гуди,
и чтоб каждый завод гудел
об этой
последней беде.
А кто
словам не умилился,
тому
агитатор –
шашка милиции.
Решимость
и дисциплина,
пружинь
тело рабочих дружин!
Чтоб, если
возьмешь за воротник,
хулиган раскис и сник.
Когда
у больного
рука гниет –
не надо жалеть ее.
Пора
топором закона
отсечь
гнилые
дела и речь!
ХУЛИГАН
Ливень докладов.
Преете?
Прей!
А под клубом,
гармошкой избранные,
в клубах табачных
шипит «Левенбрей»,
в белой пене
прибоем
тригорное...
Еле в стул вмещается парень.
Один кулак –
четыре кило.
Парень взвинчен.
Парень распарен.

Волос взъерошенный.
Нос лилов.
Мало парню такому доклада.
Парню –
слово душевное нужно.
Парню
силу выхлестнуть надо.
Парню надо..
– новую дюжину!
Парень выходит.
Как в бурю на катере.
Тесен фарватер.
Тело намокло.
Парнем разосланы
к чертовой матери
бабы,
деревья,
фонарные стекла.
Смотрит –
кому бы заехать в ухо?
Что башка не придумает дурья?!
Бомба
из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурия.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им –
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,
в спорт
перелить
мускуля пружины, –
надо и надо,
но этого мало..
Суд не скрутит –
набрать имен
и раструбить
в молве многогласой,
чтоб на лбу горело клеймо:
«Выродок рабочего класса».
А главное – помнить,
что наше тело
дышит
не только тем, что скушано;
надо –
рабочей культуры дело
делать так,
чтоб не было скушно.
РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ
АБХАЗИЯ»
Перья-облака,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:

то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналият?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз...
угаснет,
и зеленый...
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
«Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. –
Но в ответ
коварная
она:
– Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я

теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
– Все вы,
бабы,
трясогузки и каналы...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? –
Поскулил
и снова засигналил!
– Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня... –
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем обронея.

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО ПИСАТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ

Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
Нынче –
иначе.
Сед височный блеск,
и взоры озаренней.

Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,
без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете –
с Капри,
с Горки
Вам видней?
Вы
и Луначарский –
похвалы повальные,
добряки,
а пишущий
бесстыж –
тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.
Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь
и идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого...
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремесла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха –
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья
в их стихе
холодном
и лядащем.
Все
входящие
срифмуют впечатления
и печатают
в журнале
в исходящем.
А рядом

молотобойцев
анапестам
учит
профессор Шенгели.
Тут
не поймете просто-напросто,
в гимназии вы,
в шинке ли?
Алексей Максимович,
у Вас
в Италии
Вы
когда-нибудь
подобное
видали?
Приспособленность
и ласковость дворовой,
деятельность
блюдо-рубле – и тому подобных «лиз»
называют многие
– «здоровый
реализм». –
И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз, –
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм.
Одни мы,
как ни хвалите халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим
историю литературы –
лишь мы
и наши друзья.
Мы не ласкаем
ни глаза,
ни слуха.
Мы –
это Леф,
без истерики –
мы
по чертежам
деловито
и сухо
строим
завтрашний мир.
Друзья –
поэты рабочего класса.
Их знание
невелико,
но врезал
инстинкт
в оркестр разногласий
буквы
грядущих веков.
Горько
думать им
о Горьком-эмигранте.
Оправдайтесь,
гряньте!
Я знаю –
Вас ценит
и власть
и партия,

Вам дали б все –
от любви
до квартир.
Прозаики
сели
перед вами
на парте б:
– учи!
Верти! –
Или жить вам,
как живет Шаляпин,
раздушенными аплодисментами оляпан?
Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики –
я первый крикну:
– Обрато катись,
народный артист Республики! –
Алексей Максимыч,
из-за Ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясненья ходкие!),
будто
Вы
не едете из-за чахотки.
И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!
Бросить Республику
с думами,
с бунтами,
лысинку
южной зарей озарив, –
разве не лучше,
как Феликс Эдмундович,
сердце
отдать
временам на разрыв.
Здесь
дела по горло,
рукав по локти,
знамена неба
алы,
и соколы –
сталь в моторном клетоте –
глядят,
чтоб не лезли орлы.
Делами,
кровью,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
строкою вот эту,
нигде
не бывшею в найме, –
я славлю
взвитое красной ракетою
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!
ДОЛГ УКРАИНЕ
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро
по проволокам-усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьет ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Дугласа
галстух краплен...
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ –
тем, кто рядом,
почета мало.
Знают вот
украинский борщ,
знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов –
Бульбы
и известного Шевченка, –
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут –
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:

возьмет и расскажет
пару курьезов –
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знаменах –
лексиконах алых, –
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав...»
Разве может быть
затрепанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, –
чтобы стали
всех
МОИХ
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
ОКТАБРЬ
1917–1926

Если
стих
сердечный раж,
если
в сердце
задор смолк,
голосами его будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
Дней шоферы
и кучера
гонят
пулей
время свое,
а как будто
лишь вчера
были
бури
этих боев.
В шинелях,
в поддевках идут...
Весть:
«Победа!»
За Смольный порог.
Там Ильич и речь,

а тут
пулеметный говорок.
Мир
другими людьми оброс;
пионеры
лет десяти
задают про Октябрь вопрос,
как про дело
глубоких седин.
Вырастает
времени мол,
день – волна,
не в силах противиться;
в смоль-усы
оброс комсомол,
из юнцов
перерос в партийцев.
И партийцы
в годах борьбы
против всех
буржуазных лис
натрудили
себе
горбы,
многий
стал
и выросл
и лыс.
А у стен,
с Кремля под уклон,
спят вожди
от трудов,
от ран.
Лишь колышет
камни
поклон
ото ста
подневольных стран.
На стене
пропылен
и нем
календарь, как календарь,
но в сегодняшнем
красном дне
воскресает
годов легендарь.
Будет знамя,
а не хоругвь,
будут
пули свистеть над ним,
и «Вставай, проклятьем...»
в хору
будет бой
и марш,
а не гимн.
Век промчится
в седой бороде,
но и десять
пройдет хотя б,
мы
не можем
не молодеть,
выходя
на праздник – Октябрь.
Чтоб не стих
сердечный раж,
не дряхлел,
не стыл

и не смолк,
голосами
его
будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
НЕ ЮБИЛЕЙТЕ!
Мне б хотелось
про Октябрь сказать,
не в колокол названивая,
не словами,
украшающими
тепленький уют, –
дать бы
революции
такие же названия,
как любимым
в первый день дают!
Но разве
уместно
слово такое?
Но разве
настали
дни для покоя?
Кто галоши приобрел,
кто зонтик;
радуется обыватель:
«Небо голубо»...
Нет,
в такую ерунду
не рассказывайте
боевую
революцию – любовь.
В сотне улиц
сегодня
на вас,
на меня
упадут огнем знамена.
Будут глотки греметь,
за кордоны катя
огневые слова про Октябрь.
Белой гвардии
для меня
белей
имя мертвое: юбилей.
Юбилей – это пепел,
песок и дым;
юбилей –
это радость седым;
юбилей –
это край
кладбищенских ям;
это речи
и фимиам;
остановка предсмертная,
вздохи,
елей –
вот что лезет
из букв
«ю-б-и-л-е-й».
А для нас
юбилей –
ремонт в пути,
постоял –
и дальше гуди.
Остановка для вас,
для вас
юбилей –

а для нас
подсчет рублей.
Сбереженный рубль –
сбереженный заряд,
поражающий вражеский ряд.
Остановка для вас,
для вас
юбилей –
а для нас –
это сплавы лей.
Разобьет
врага
электрический ход
лучше пушек
и лучше пехот.
Юбилей!
А для нас –
подсчет работ,
перемеренный литрами пот.
Знаем:
в графиках
довоенных норм
коммунизма одежда и корм.
Не горюй, товарищ,
что бой измельчал:
– Глаз на мелочь! –
приказ Ильича.
Надо
в каждой пылинке
будить уметь
большевистского пафоса медь.
Зорче глаз крестьянина и рабочего,
и минуту
не будь рассеянной!
Будет:
под ногами
заколеблется почва
почище японских землетрясений.
Молчит
перед боем,
топки глуша,
Англия бастующих шахт.
Пусть
китайский язык
мудрен и велик, –
знает каждый и так,
что Кантон
тот же бой ведет,
что в Октябрь вели
наш
рязанский
Иван да Антон.
И в сердце Союза
война.
И даже
киты батарей
и полки.
Воры
с дураками
засели в блиндажи
растрат
и волокит.
И каждая вывеска:
– рабкооп –
коммунизма тяжелый окоп.
Война в отчетах,
в газетных листах –
рассчитывай,

режь и крои.
Не наша ли кровь
продолжает хлестать
из красных чернил РКИ?!
И как ни тушили огонь –
нас трое!
Мы
трое
охапки в огонь кидаем:
растет революция
в огнях Волховстроя,
в молчании Лондона,
в пулях Китая.
Нам
девятый Октябрь –
не покой,
не причал.
Сквозь десятки таких девяти
мозг живой,
живая мысль Ильича,
нас
к последней победе веди!
СТОЯЩИМ НА ПОСТУ
Жандармы вселенной,
вылоснив лица,
стоят над рабочим:
– Эй,
не бастуй! –
А здесь
трудящихся щит –
милиция
стоит
на своем
бессменном посту.
Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах
в других
не грянет такой, –
стой,
береги своим караулом
копейку рабочую,
дом и покой.
Пока
Волховстроев яркая речь
не победит
темноту нищеты,
нутро республики
вам беречь –
рабочих
домов и людей
щиты.
Храня республику,
от людей до иголок,
без устали стой
и без лени,
пока не исчезнут
богатство и голод –
поставщики преступлений.
Враг – хитер!
Смотрите в оба!
Его не сломишь,
если сам лоботряс.
Помни, товарищ, –
нужна учеба
всем,
защищающим рабочий класс!

Голой рукой
не взять врага нам,
на каждом участке
преследуй их.
Знай, товарищ,
и стрельбу из нагана,
и книгу Ленина,
и наш стих.
Слаба дисциплина – петлю накинут.
Бандит и белый
живут в ладах.
Товарищ,
тверже крепи дисциплину
в милиционерских рядах!
Иной
хулигану
так
даже рад, –
выйдет
этакий
драчун и голосило:
– Ничего, мол,
выпимши –
свой брат –
богатырская
русская сила. –
А ты качнешься
(от пива частого),
у целой улицы нос заалел:
– Ежели,
мол,
безобразит начальство,
то нам,
разумеется,
и бог велел! –
Сорвут работу
глупым ляганьем
пивного чада
бузящие чады.
Лозунг твой:
– Хулиганам
нет пощады! –
Иной рассуждает,
морща лоб:
– Что цапать
маленьких воришек?
Ловить вора,
да такого,
чтоб
об нем
говорили в Париже! –
Если выудят
миллион
из кассы скряжьей,
новый
с рабочих
сдерет задарма.
На мелочь глаз!
На мелкие кражи,
потрошачие
тощий
рабочий карман!
В нашей республике
свет не равен:
чем дальше от центра –
тем глубже ночи.
Милиционер,
в темноту окраин

глаз вонзай
острей и зорче!

Пока
за нашим
октябрьским гулом
и в странах других
не пройдет такой
стой,
береги своим караулом
копейки,
людей,
дома
и покой.

О ТОМ, КАК НЕКОТОРЫЕ ВТИРАЮТ ОЧКИ ТОВАРИЩАМ, ИМЕЮЩИМ ЦИКОВСКИЕ ЗНАЧКИ
1

Двое.

В петлицах краснеют флажки.
К дверям учрежденья направляют
шажки...
Душой – херувим,
ангел с лица,
дверь
перед ними
открыл швейцар.
Не сняв улыбки с прелестного ротика,
ботики снял
и пылинки с ботишков.

Дескать:

– Любой идет пускай:
ни имя не спросим,
ни пропуска! –
И рот не успели открыть,
а справа
принес секретарь
полдюжины справок.
И рта закрыть не успели,
а слева
несет резолюцию
какая-то дева...
Очередь?
Где?
Какая очередь?
Очередь –
воробьиного носа короче.
Ни чином своим не гордясь,
ни окладом –
принял
обоих
зав
без доклада...
Идут обратно –
весь аппарат,
как брат
любимому брату, рад...
И даже
котенок,
сидящий на папке,
с приветом
поднял
передние лапки.
Идут, улыбаясь,
хвалить не ленятся:
– Рай земной,
а не учрежденьице! –
Ушли.
У зава
восторг на физию:
– Ура!

Пронесло.

Не будет ревизии!..

2

Назавтра,

дома оставив флажки,

двое

опять направляют шажки.

Швейцар

сквозь щель

горделиво лается:

– Ишь, шпана.

А тоже – шляется!.. –

С черного хода

дверь узка.

Орет какой-то:

– Предъявь пропуска! –

А очередь!

Мерь километром.

Куда!

Раз шесть

окружила дом,

как удав.

Секретарь,

величественней Сухаревой башни,

вдали

телефонит знакомой барышне..

Вчерашняя дева

в ответ на вопрос

сидит

и пудрит

веснушчатый нос..

У заповской двери

драконом-гадом

некто шипит:

– Нельзя без доклада! –

Двое сидят,

ковыряют в носу..

И только

уже в четвертом часу

закрыли дверь

и орут из-за дверок:

– Приходите

после дождика в четверг! –

У кошки –

и то тигрячий вид:

когти

вцарапать в глаза норовит..

В раздумье

оба

обратно катятся:

– За день всего –

и так обюрократиться?! –

А в щель

гардероб

вдогонку брошен:

на двух человек

полторы галоши.

* * *

Нету места сомнениям шатким.

Чтоб не пасса

бюрократ

коровой на лужку,

надо

или бюрократам

дать по шапке,

или

каждому гражданину

дать по флажку!

НАШЕ НОВОГОДИЕ

«НОВЫЙ ГОД!»

Для других это просто:

о стакан

стаканом бряк!

А для нас

новогодие –

подступ

к празднованию

Октября.

Мы

лета

исчисляем снова –

не христовый считаем род.

Мы

не знаем «двадцать седьмого»,

мы

десятый приветствуем год.

Наших дней

значенью

и смыслу

подвести итоги пора.

Серых дней

обыденные числа,

на десятый

стройтесь

парад!

Скоро

всем

нам

счет предъявят:

дни свои

ерундой не мельча,

кто

и как

в обыденной яви

воплотил

слова Ильича?

Что в селе?

Навоз

и скрипучий воз?

Свод небесный

коркою вычерствел?

Есть ли там

уже

миллионы звезд,

расцветающие в электричестве?

Не купая

в прошедшем взора,

не питаясь

зрелищем древним,

кто и нынче

послал ревизоров

по советским

Марьям Андревнам?

Нам

коммуна

не словом крепка и любá

(сдашь без хлеба,

как ни крепися!).

У крестьян

уже

готовы хлебá

всем,

кто переписью переписан?

Дайте крепкий стих

годочков этак на сто,

чтоб не таял стих,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
как дым клубимый,
чтоб стихом таким
звенеть
и хвастать
перед временем,
перед республикой,
перед любимой.
Пусть гремят
барабаны поступи
от земли
к голубому своду.
Занимайте дни эти –
подступы
к нашему десятому году!
Парад
из края в край растянем.
Все,
в любой работе
и чине,
рабочие и драмщики,
стихачи и крестьяне,
готовьтесь
к десятой годовщине!
Все, что красит
и радует,
все –
и слова,
и восторг,
и погоду –
все
к десятому припасем,
к наступающему году.
Стихотворения 1927 года
СТАБИЛИЗАЦИЯ БЫТА
После боев
и голодных пыток
отрос на животике солидный жирок.
Жирок заливает щелочки быта
и застывает,
тих и широк.
Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий»
и в «Известия».
С восторга бросив подсолнухи лузгать,
восторженно подняв бровки,
читает работница:
«Готовые блузки.
Последний крик Петровки».
Не зря и Кузнецкий похож на зарю, –
прижав к замерзшей витрине ноздрю,
две дамы расплылись в стончике:
«Ах, какие фестончики!»
А рядом,
учли обывателью натуру, –
портрет
кого-то безусого;
отбирайте гения
для любого гарнитура, –
все
от Казина до Брюсова.
В магазинах –
ноты для широких масс.

Пойте, рабочие и крестьяне,
последний
сердцещипательный романс
«А сердце-то в партию тянет!»¹
В окне гражданин,
устав от ношения
портфелей,
сложивши папки,
жене,
приятной во всех отношениях,
выбирает
«глазки да лапки».
Перед плакатом «Медвежья свадьба»
нэпачка сияет в неге:
– И мне с таким медведем
поспать бы!
Погрызи меня,
душка Эггерт. –
Сияющий дом,
в костюмах,
в белье, –
радуйся,
растратчик и мот.
«Ателье
мод».
На фоне голосов стою,
стою
и философствую.
Свежим ветерочком в республику
вея,
звездой сияя из мрака,
товарищ Гольцман
из «Москвошвея»
обещает
«эпоху фрака».
Но,
от смокингов и фраков оберегая охотников
(не попался на буржуазную удочку!),
восхваляет
комсомолец
товарищ Сотников
толстовку
и брючки «дудочку».
Фрак
или рубахи синие?
Неувязка парт- и советской линии.
Меня
удивляют их слова.
Бьет разнобой в глаза.
Вопрос этот
надо
согласовать
и, разумеется,
увязать.
Предлагаю,
чтоб эта идейная драка
не длилась бессмысленно далее,
пришивать
к толстовкам
фалды от фрака
и носить
лакированные сандалии.
А чтоб цилиндр заменила кепка,
накрахмаливать кепку крепко.
Грязня сердца
и масля бумагу,
подминая
Москву

под копыта,
волокут
опять
колымагу
дореволюционного быта.
Зуди
издевкой,
стих хмурый,
вразрез
с обывательским хором:
в делах
идеи,
быта,
культуры –
поменьше
довоенных норм!
БУМАЖНЫЕ УЖАСЫ
(Ощущения Владимира Маяковского)

Если б
в пальцах
держал
земли бразды я,
я бы
землю остановил на минуту:
– Внемли!
Слышишь,
перья скрипят
механические и простые,
как будто
зубы скрипят у земли? –
Человечья гордость,
смирись и улягся!
Человеки эти –
на кой они лях!
Человек
постепенно
становится кляксой
на огромных
важных
бумажных полях.
По каморкам
ютятся
людские тени.
Человеку –
сажень.
А бумажке?
Лафа!
Живет бумажка
во дворцах учреждений,
разлеглась на столах,
кейфует в шкафах.
Вырастает хвост
на сукно
в магазине,
без галош нога,
без перчаток лапа.
А бумагам?
Корзина лежит на корзине,
и для тела «дел» –
миллионы папок.
У вас
на езду
червонцы есть ли?
Вы были в Мадриде?
Не были там!
А ЭТИМ
бумажкам,

чтобплыли
и ездили,
еще
возносятся
новый почтайт!
Стали
ножки-клипсы
у бывших сильных,
заменяли
инструкции
силу ума.
Люди
медленно
сходят
на должность посыльных,
в услужении
у хозяев – бумага.
Бумажища
в портфель
умещаются еле,
белозубую
обнажают кайму.
Скоро
люди
на жительство
влезут в портфели,
а бумаги –
наши квартиры займут.
Вижу
в будущем –
не вымыслы мои:
рупоры бумага
орут об этом громко нам –
будет
за столом
бумага
пить чай,
человечек
под столом
валяться скомканным.
Бунтом встать бы,
развить огневые флаги,
рвать зубами бумагу б,
ядрами б выть...
Пролетарий,
и дюйм
ненужной бумаги,
как врага своего,
вконец ненавижу.
НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ
На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
и одежды!
Насилу,
пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
И, глуша прощаньем свистка,
рванулса
курьерский
с Курского!
Заводы.
Березы от леса до хат
бегут,
листочками вороча,
и чист,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
лесами сломанных,
толпа надвигается
мазанок.
Цветисты бочка
из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
можете лопаться –
в ответ
снисходительно cedят смешок
уста
украинца-хлопца.
Пространства бегут,
с хвоста нарастав,
их жарит
солнце-кухарка.
И поезд
уже
бежит на Ростов,
далеко за дымный Харьков.
Поля –
на миллионы хлебных тонн –
как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское –
то головы сахара высят хребты,
то в солнце –
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седины.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
из седла
осетины.
Верх
гор –
лед,
низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
Тифлисцев
узнаешь и метров за сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
эткими парижакими.
По-своему
всякий
зубрит азы,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего –
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,

где я ночую.
Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,
хохол отвечал:
– Нэ чую. –
Когда ж переходят
к научной теме,
им
рамки русского
узки;
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что –
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардые
французи́стыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд – на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,

Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я –
дедом казак, другим –
сечевик,
а по рождению
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это –
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.
ПО ГОРОДАМ СОЮЗА
Россия – все:
и коммуна,
и волки,
и давка столиц,
и пустырьная ширь,
стоводная удаль безудержной Волги,
обдорская темь
и сиянье Кашир.
Лед за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,
это красный,
это Нижний,
это зимний Новгород.
По первой реке в российском сторечье
скользим...
цепенеем...
зацапаны ветром...
А за волжским доисторичьем
кресты да тресты,
да разные «центро».
Сумятица торга кипит и клокочет,
клочки разговоров
и дымные клочья,
а к ночи
не бросится говор,
не скрипнут полозья,
столетняя зелень зигзагов Кремля,
да под луной,
разметавшей волосья,
замерзающая земля.
Огромная площадь;
прорезав вкривь ее,
неслышную поступь дикарских лап
сквозь северную Скифию
я направляю
в местный ВАПП.
За версты,
за сотни,
за тыщи,
за массу
за это время заедешь, мчать,
а мы
ползли и ползли к Арзамасу
со скоростью верст четырнадцать в час.

Напротив
сели два мужичины:
красные бороды,
серые рожи.
Презрительно буркнул торговый мужчина:
– Сережи! –
Один из Сережей
полез в карман,
достал пироги,
запахнул одежду
и всю дорогу жевал корма,
ленивые фразы цедя промежду.
– Конечно...
и к Петрову...
и в Покров...
за то и за это пожалте процент...
а толку нет...
не дорога, а кровь...
с телегой тони, как ведро в колодце...
На што мой конь – крепыш,
аж и он
сломал по яме ногу...
Раз ты
правительство,
ты и должон
чинить на всех дорогах мосты. –
Тогда
на него
второй из Серез
прищурил глаз, в морщины оправленный.
– Налог-то ругашь,
а пирог-то жрешь... –
И первый Сережа ответил:
– Правильно!
Получше двадцатого,
что толковать,
не голодаем,
едим пироги.
Мука, дай бог...
хороша такова...
Но што насчет лошажьей ноги...
взыскали процент,
а мост не пролежать... –
Баючит езда дребезжаньем звонким.
Сквозь дрему
все время
про мост и про лошадь
до станции с названьем «Зименки».
На каждом доме
советский вензель
зовет,
сияет,
режет глаза.
А под вензелями
в старенькой Пензе
старушьим шепотом дышит базар.
Перед нэпачкой баба седа
отторговывает копеек тридцать.
– Купите платочек!
У нас
завсегда
заказывала
сама царица... –
Морозным днем отмелькала Самара,
за ней
начались азиаты.
Верблюдина
сено

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
провозит, замаран,
в упряжку лошажьё взятый.
Университет –
горделивость Казани,
и стены его
и донныне
хранят
любовнейшее воспоминание
о великом своем гражданине.
Далеко
за годы
мысль катя,
за лекции университета,
он думал про битвы
и красный Октябрь,
идя по лестнице этой.
Смотрю в затихший и замерший зал:
здесь
каждые десять на сто
его повадкой щурят глаза
и так же, как он,
скуласты.
И смерти
коснуться его
не посметь,
стоит
у грядущего в смете!
Внимают
юноши
строфам про смерть,
а сердцем слышат:
бессмертье.
Вчерашний день
убог и низмен,
старья
премного осталось,
но сердце класса
горит в коммунизме,
и класса грудь
не разбить о старость.
МОЯ РЕЧЬ НА ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО СЛУЧАЮ ВОЗМОЖНОГО СКАНДАЛА С ЛЕКЦИЯМИ
ПРОФЕССОРА ШЕНГЕЛИ
Я тру
ежедневно
взморщенный лоб
в раздумье
о нашей касте,
и я не знаю:
поэт –
поп,
поп или мастер.
Вокруг меня
толпа малышей, –
едва вкусившие славы,
а волос
уже
отрастили до шей
и голос имеют гнусавый.
И, образ подняв,
выходят когда
на толстожурнальный амвон,
я,
каюсь,
во храме
рвусь на скандал,
и крикнуть хочется:
– Вон! –
А вызовут в суд, –

убежденно гудя,
скажу:
– Товарищ судья!
Как знамя,
башку
держу высоко,
ни дух не дрожит,
ни коленки,
хоть я и слышал
про суровый
закон
от самого
от Крыленки.
Законы
не знают переодевания,
а без
преувеличенности,
хулиганство –
это
озорные деяния,
связанные
с неуважением к личности.
Я знаю
любого закона лютей,
что личность
уважить надо,
ведь масса –
это
много людей,
но масса баранов –
стадо.
Не зря
эту личность
рожает класс,
лелеет
до нужного часа,
и двинет,
и в сердце вложит наказ:
«Иди,
твори,
отличайся!»
Идет
и горит
докрасна,
добела...
Да что городить околичность!
Я,
если бы личность у них была,
влюбился б в ихнюю личность.
Но где ж их лицо?
Осмотрите в момент –
без плюсов,
без минусов.
Дыра!
Принудительный ассортимент
из глаз,
ушей
и носов!
Я зубы на этом деле сжевал,
я знаю, кому они копия.
В их песнях
поповская служба жива,
они –
зарифмованный опиум.
Для вас
вопрос поэзии –
нов,
но эти,

видите,
молятся.
Задача их –
выделка дьяконов
из лучших комсомольцев.
Скрывает
ученейший их богослов
в туман вдохновения радугу слов,
как чаши
скрывают
церковные.
А я
раскрываю
мое ремесло,
как радость,
мастером кованную.
И я,
вскипя
с позора с того,
ругнулся
и плюнул, уйдя.
Но ругань моя –
не озорство,
а долг,
товарищ судья. –
Я сел,
разбивши
доводы глиняные.
И вот
объявляется приговор,
так сказать,
от самого Калинина,
от самого
товарища Рыкова.
Судьей,
расцветшим розой в саду,
объявлено
тоном парадным:
– Маяковского
по суду
считать
безусловно оправданным!
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
Слух идет
бессмысленен и гадок,
трется в уши
и сердце ежит.
Говорят,
что воли упадок
у нашей
у молодежи.
Говорят,
что иной братишка,
заработавший орден,
ныне
про вкусноты забывший ротишко
под витриной
кривит в унынье.
Что голодным вам
на зависть
окна лавок в бутылочном тыне,
и едят нэпачи и завы
в декабре
арбузы и дыни.
Слух идет
о грозном сраме,
что лишь радость
развоскресенена,

комсомольцы
лейб-гусарами
пьют
да ноют под стих Есенина.
И доносится до нас
сквозь губы искривленную прорезь:
«Революция не удалась...
За что боролись?..»
И свои 18 лет
под наган подставят –
и нет,
или горло
впетлят в коски.
И горюю я,
как поэт,
и ругаюсь,
как Маяковский.
Я тебе
не стихи ору,
рифмы в этих делах
ни при чем;
дай
как другу
пару рук
положить
на твое плечо.
Знал и я,
что значит «не есть»,
по бульварам валялся когда, –
понял я,
что великая честь
за слова свои
голодать.
Из-под локона,
кепкой завитого,
вскинь глаза,
не грусти и не злись.
Разве есть
чему завидовать,
если видишь вот эту слизь?
Будто рыбы на берегу –
с прежним плаваньем
трудно расстаться им.
То царев горшок берегут,
то
обломанный шкаф с инкрустациями.
Вы – владыки
их душ и тела,
с вашей воли
встречают восход.
Это –
очень плевое дело,
если б
революция захотела
со счетов особых отделов
эту мелочь
списать в расход.
Но, рядясь
в любезность наносную,
мы –
взамен забытой чеки
кормим дыней и ананасною,
ихних жен
одеваем в чулки.
И они
за все за это,
что чулки,
что плачено дорого,

строят нам
дома и клозеты
и бойцов
обучают торгу.
Что ж,
без этого и нельзя!
Сменим их,
гранит догрызя.
Или
наша воля обломалась
о сегодняшнюю
деловую малость?
Нас
дело
должно
пронизать насквозь,
скуленье на мелочность
высмей.
Сейчас
коммуне
ценен гвоздь,
как тезисы о коммунизме.
Над пивом
нашим юношам ли
склонять
свои мысли ракизовые?
Нам
пить
в грядущем
все соки земли,
как чашу
мир запрокидывая.
ДАЕШЬ ИЗЯЧНУЮ ЖИЗНЬ
Даже
мерин сивый
желает
жизни изящной
и красивой.
Вертит
игриво
хвостом и гривой.
Вертит всегда,
но особо пылко –
если
навстречу
особа-кобылка.
Еще грациозней,
еще капризней
стремится человечество
к изящной жизни.
У каждого класса
свое понятие,
особые обычаи,
особое платье.
Рабочей рукою
старое выжми –
посыплется фрак, –
польются фижмы.
Царь
безмятежно
в могилке спит...
Сбит Милюков,
Керенский сбит...
Но в быту
походкой рачьей
пятятся многие
к жизни фрячьей.
Отверзаю

поэтические уста,
чтоб описать
такого хлюста.
Запонки и пуговицы
и спереди и сзади.
Теряются
и отрываются
раз десять на день.
В моде
в каждой
так положено,
что нельзя без пуговицы,
а без головы можно.
Чтоб было
оправдание
для стольких запонок,
в крахмалы
туловище
сплошь заляпано.
На голове
прилизанные волоса,
посредине
пробрита
лысая полоса.
Ноги
давит
узкий хром.
В день
обмозолишься
и станешь хром.
На всех мизинцах
аршинные ногти.
Обломаются –
работу не трогайте!
Для сморкания –
пальчики,
для виду –
платочек.
Торчит
из карманчика
кружевной уголочек.
Толку не добьешься,
что ни спроси –
одни «пардоны»,
одни «мерси».
Чтоб не было
ям
на хилых грудях,
ходит,
в петлицу
хризантемы вкрутя,
Изящные улыбки
настолько тонки,
чтоб только
виднелись
золотые коронки.
Косится на косицы –
стрельнуть за кем? –
и пошлость
про ландыш
на слюнявом языке.
А
в очереди
венерической клиники
читает
усердно
«Мощи» Калинникова.
Таким образом

день оттрудись,
разденет фигуру,
не мытую отродясь,
Зевнет
и спит,
излюблен, испит.
От хлама
в комнате
теснен, чем в каюте.
И это называется;
– Живем-с в уюте!
Лозунг:
– В ногах у старья не ползай! –
Готов
ежедневно
твердить раз сто:
изящество –
это стопроцентная польза,
удобство одежд
и жилья простор.
ВМЕСТО ОДЫ
Мне б хотелось
вас
воспеть
во вдохновенной оде,
только ода
что-то не выходит.
Скольким идеалам
смерть на кухне
и под одеялом!
Моя знакомая –
женщина как женщина,
оглошшая
от примусов пыхания
и ухания,
баба советская,
в загсе венчанная,
самая передовая
на общей кухне.
Хранит она
в складах лучших дат
замужество
с парнем среднего роста;
еще не партиец,
но уже кандидат,
самый красивый
из местных письменосцев.
Баба сердитая,
видно сразу,
потому что сожитель ейный
огромный синяк
в дополнение к глазу
приставил,
придя из питейной.
И шипит она,
выгнав мужа вон:
– Я
ему
покажу советский закон!
Вымою только
последнюю из посуды –
и прямо в милицию,
прямо в суд... –
Домыла.
Перед взятием
последнего рубежа
звонок
по кухне

рассыпался, дребезжа.
Открыла.
Расцвели миллионы почек,
высохла
по-весеннему
слезная лужа...
– Его почерк!
Письмо от мужа. –
Письмо раскаленное –
не пишет,
а пышет.
«Вы моя душка,
и ангел
вы.
Простите великодушно!
Я буду тише
воды
и ниже травы».
Рассиялся глаз,
оплывший набок.
Слово ласковое –
мастер
дивных див.
И опять
за примусами баба,
все поняв
и все простив.
А уже
циркуля письмоносца
за новой юбкой
по улицам носятся;
раскручивая язык
витиеватой лентой,
шепчет
какой-то
оаживаемой Вере:
– Я за положительность
и против инцидентов,
которые
вредят
служебной карьере. –
Неделя покоя,
но больше
никак
не прожить
без мата и синяка.
Неделя –
и снова счастья нету,
задрались,
едва в пивнушке побыли...
Вот оно –
семейное
«перпетуум
мобиле».
И вновь
разговоры,
и суд, и «треть»
на много часов
и недель,
и нет решимости
пересмотреть
семейственную канитель.
Я
напыщенным словам
всегдашний враг,
и, не растекаясь одами
к восьмому марта,
я хочу,

чтоб кончилась
такая помесь драк,
пьянства,
лжи,
романтики
и мата.
ЛУЧШИЙ СТИХ
Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.
– Товарищ Маяковский,
прочтите
лучшее
ваше
стихотворение. –
Какому
стиху
отдать честь?
Думаю,
упершись в стол.
Может быть,
это им прочесть,
а может,
прочесть то?
Пока
перетряхиваю
стихотворную старь
и нем
ждет
зал,
газеты
«Северный рабочий»
секретарь
тихо
мне
сказал...
И гаркнул я,
сбившись
с поэтического тона,
громче
иерихонских хайл:
– Товарищи!
Рабочими
и войсками Кантона
взят
Шанхай! –
Как будто
жесть
в ладонях мнут,
оаций сила
росла и росла.
Пять,
десять,
пятнадцать минут
рукоплескал Ярославль.
Казалось,
буря
версты крыла,
в ответ
на все
чемберленьи ноты
катилась в Китай, –
и стальные рыла
отворачивали
от Шанхая
дредноуты.

Не приравняю
всю
поэтическую слякоть,
любую
из лучших поэтических слав,
не приравняю
к простому
газетному факту,
если
так
ему
рукоплещет Ярославль.
О, есть ли
привязанность
большей силищи,
чем солидарность,
прессующая
рабочий улей?!
Рукоплещи, ярославец,
маслобой и текстильщик,
незнаемым
и родным
китайским кули!
«ЛЕНИН С НАМИ!»
Бывают события:
случатся раз,
из сердца
высекут фразу.
И годы
не выдумать
лучших фраз,
чем сказанная
сразу.
Таков
и в Питер
ленинский въезд
на башне
броневика.
С тех пор
слова
и восторг мой
не ест
ни день,
ни год,
ни века.
Все так же
вскипают
от этой даты
души
фабрик и хат.
И я
привожу вам
просто цитаты
из сердца
и из стиха.
Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили
радость февральскую,
Десять
министров-капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.
Купался
Керенский
в своей победе,

задав
революции
адвокатский тон.
Но вот
пошло по заводу:
– Едет!
Едет!
– Кто едет?
– Он!
«И в город,
уже
заплывающий салом,
вдруг оттуда,
из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
загрохотал броневик»,
Была
простая
машина эта,
как многие,
шла над Невой.
Прошла,
а нынче
по целому свету
дыханье ее
броневое.
«И снова
ветер,
свежий и крепкий,
валы
революции
поднял в пене.
Литейный
залили
блузы и кепки.
– Ленин с нами!
Да здравствует Ленин!»
И с этих дней
езде
и во всем
имя Ленина
с нами.
Мы
будем нести,
несли
и несем –
его,
Ильичево, знамя.
«– Товарищи! –
и над головою
первых сотен
вперед
ведущую
руку выставил.
– Сбросим
эсдечества
обветшавшие лохмотья!
Долой
власть
соглашателей и капиталистов!»
Тогда
рабочий,
впервые спрошенный,
еще нестройно
отвечал:
– Готов! –
А сегодня

буржуй
распластан, сброшенный,
и нашей власти –
десять годов.
«– Мы –
ГОЛОС
воли низа,
рабочего низа
всего света.
Да здравствует
партия,
строящая коммунизм!
Да здравствует
восстание
за власть Советов!»
Слова эти
слушали
пушки мордастые,
и щерился
белый,
штыками блестя.
А нынче
Советы и партия
здравствуют
в союзе
с сотней миллионов крестьян.
«Впервые
перед толпой обалделой,
здесь же,
перед тобою,
близ –
встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово
– «социализм».
А нынче
в упряжку
взяты частники.
Коопов
стосортных
сети вьем,
показываем
ежедневно
в новом участке
социализм
живьем.
«Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся –
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ».
Коммуна –
еще
не дело дней,
и мы
еще
в окружении врагов,
но мы
прошли
по дороге к ней
десять
самых трудных шагов.

ВЕСНА
В газетах
пишут
какие-то дяди,
что начал
любовно
постукивать дятел.
Скоро
вид Москвы
скопируют с Ниццы,
цветы создадут
по весенним велениям.
Пишут,
что уже
синицы
оглядывают гнезда
с любовным вожделением,
Газеты пишут:
дни горячей,
налетели
отряды
передовых грачей.
И замечает
естествоиспытательское око,
что в березах
какая-то
циркуляция соков.
А по-моему –
дело мрачное:
начинается
горячка дачная.
Плюнь,
если рассказывает
какой-нибудь шут,
как дачные вечера
милы,
тихи.
Опишу
хотя б,
как на даче
выделываю стихи.
Не растрачивая энергию
среди ерундовых трат,
решаю твердо
писать с утра.
Но две девицы,
и тощи
и рябы,
заставили идти
искать грибы.
Хожу в лесу-с,
на каждой колючке
распинаюсь, как Иисус.
Устав до того,
что не ступишь на ноги,
принес сыроежку
и две поганки.
Принесши трофей,
еле отделяюсь
от упомянутых фей.
С бумажкой
лежу на траве я,
и строфы
спускаются,
рифмами вея.
Только
над рифмами стал сопеть,
и –

меня переезжает
кто-то
на велосипеде.
С балкона,
куда уселся, мыча,
сбежал
вовнутрь
от футбольного мяча.
Полторы строки намарал –
и пошел
ловить комара.
Опрокинув чернильницу,
задув свечу,
подымаюсь,
прыгаю,
чуть не лечу.
Поймал,
и при свете
мерцающих планет
рассматриваю –
хвост малярный
или нет?
Уселся,
но слово
замерло в горле.
На кухне крик:
– Самовар сперли! –
Адамом,
во всей первородной красе,
бегу
за жуликами
по василькам и росе.
Отступаю
от пары
бродячих дворняжек,
заинтересованных
видом
юных ляжек.
Сел
в меланхолии.
В голову
ни строчки
не лезет более.
Два,
Ложусь в идиллии.
К трем часам –
уснул едва,
а четверть четвертого
уже разбудили.
На луже,
зажатой
берегам в бока,
орет
целуемая
лодочникова дочка...
«Славное море –
священный Байкал,
Славный корабль –
омулевая бочка».
ОСТОРОЖНЫЙ МАРШ
Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы
твердолобые
республике грозят.
Не будь,
товарищ,
слепым

и глухим!
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Стучат в бюро Аркосовы,
со всех сторон насеив:
как ломом,
лбом кокосовым
ломают мирный сейф.
С такими,
товарищ,
не сваришь
ухи.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Знакомы эти хари нам,
не нов для них подлог:
подпишут
под Бухарина
любой бумажки клочок.
Не жаль им,
товарищи,
бумажной
трухи.
Держите,
товарищи,
порох
сухим!
За барыней,
за Англией
и шавок лай летит, –
уже
у новых Врангелей
взыгрался аппетит.
Следи,
товарищ,
за лаем
лихим.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
Мы строим,
жнем
и сеем.
Наш лозунг:
«Мир и гладь».
Но мы
себя
сумеет
винтовкой отстоять.
Нас тянут,
товарищ,
к войне
от сохи.
Держи,
товарищ,
порох
сухим!
ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ И ВЯЧЕСЛАВ ПОЛОНСКИЙ
Сегодня я,
поэт,
боец за будущее,
оделся, как дурак.
В одной руке –

венок
огромный
из огромных незабудицей,
в другой –
из чайных –
розовый букет.
Иду
сквозь моторно-бензинную мглу
в Лувр.
Складку
на брюке
выправил нервно;
не помню,
платил ли я за билет;
и вот
зала,
и в ней
Венерино
дезабиле.
Первое смущенье.
Рассеялось когда,
я говорю:
– Мадам!
По доброй воле,
несмотря на блеск,
сюда
ни в жизнь не наострил бы лыж.
Но я
поэт СССР –
ноблес
оближ[19]!
У нас
в республике
не меркнет ваша слава.
Эстеты
мрут от мраморного лоска.
Короче:
я –
от Вячеслава
Полонского.
Носастей грека он.
Он в вас души не чает.
Он
поэлладистой Лициниев и Люциев,
хоть редактирует
и «Мир»,
и «Ниву»,
и «Печать
и революцию».
Он просит передать,
что нет ему житья.
Союз наш
грубоват для тонкого мужчины.
Он много терпит там
от мужичья,
от лефов и мастеровщины.
Он просит передать,
что, «леф» и «праф» костя,
в Элладу он плывет
надклассовым сознаньем.
Мечтает он
об эллинских гостях,
о тогах,
о сандалиях в Рязани,
чтобы гекзаметром
сменилась
лефовца строфа,
чтобы Радимовы

скакали по дорожке,
и чтоб Радимов
был
не человек, а фавн, –
чтобы свирель,
набедренник
и рожки.
Конечно,
следует иметь в виду, –
у нас, мадам,
не все такие там.
Но эту я
передаю белиберду.
На ней
почти официальный штамп.
Велено
у ваших ног
положить
букеты и венок.
Венера,
окажите честь и счастье,
катите
в сны его
эладских дней ладью..
Ну,
будет!
Кончено с официальной частью.
Мадам,
адью! –
ни улыбки,
ни приветов с уст ее,
и пока
толпу очередную
загоняет Кук,
расстаемся
без рукопожатий
по причине полного отсутствия
рук.
Иду –
авто дудит в дуду.
Танцую – не иду.
Домой!
Внимателен
и нем
стою в моем окне.
Напротив окон
гладкий дом
горит стекольным льдом.
Горит над домом
букв жара –
гараж.
Не гараж –
сам бог!
«Миль вуатюр,
де сан бокс».
В переводе на простой:
«Тысяча вагонов,
двести стойл».
Товарищи!
Вы
видали Ройльса?
Ройльса,
который с ветром сросся?
А когда стоит –
кит.
И вот этого
автомобильного кита ж
подымают

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
на шестой этаж!

Ставши
уменьшеннее мышей,
тысяча машинных малышей
спит в объятиях
гаража-колосса.
Ждут рули –
дорваться до руки.
И сияют алюминием колеса,
круглые,
как дураки.
И когда
опять
вдыхают на заре
воздух
миллионом
радиаторных ноздрей,
кто заставит
и какую дуру
нос вертеть
на Лувры и скульптуру?!
Автомобиль и Венера – старо-с?
Пускай!
Поневее и АХРРов и роз.
Мещанская жизнь
не стала иной,
Тряхнем и мы футурстариной.
Товарищ Полонский!
Мы не позволим
любителям старых
дворянских манер
в лицо строителям
тыкать мозоли,
веками
натертые
у Венер.
ГОСПОДИН «НАРОДНЫЙ АРТИСТ»
Парижские «Последние новости» пишут:

«Шляпин пожертвовал священнику
Георгию Спасскому на русских
безработных в Париже 5000 франков.
1000 отдана бывшему морскому агенту,
капитану 1-го ранга Дмитриеву,
1000 роздана Спасским лицам, ему
знакомым, по его усмотрению, и
3000 – владыке митрополиту
Евлогию».

Вынув бумажник из-под хвостика фрака,
добрейший
Федор Иваныч Шляпин
на русских безработных
пять тысяч франков
бросил
на дно
поповской шляпы.
Ишь сердобольный,
как заботится!
Конешно,

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
плохо, если жмет безработица.
Но...
удивляют получающие пропитанье.
Почему
у безработных званье капитанье?
Ведь не станет
лезть
морское капитанство
на завод труда
и в шахты пота.
Так чего же ждет
Евлогиева паства,
и какая
ей
нужна работа?
Вот если
за нынешней грозой нотною
пойдет война
в орудийном аду –
шляпинские безработные
живо
себе
работу найдут.
Впервые
тогда
комсомольская масса,
раскрыв
пробитые пулями уши,
сведет
знакомство
с шляпинским басом
через бас
белогвардейских пушек.
Когда ж
полями,
кровью политыми,
рабочие
бросят
руки и ноги, –
вспомним тогда
безработных митрополита
Евлогия.
Говорят,
артист –
большой ребенок.
Не знаю,
есть ли
у Шляпина бонна.
Но если
бонны
нету с ним,
мы вместо бонны
ему объясним.
Есть класс пролетариев
миллионногорбый
и те,
кто покорен фаустовскому тельцу.
На бой
последний
класса оба
сегодня
сошлись
лицом к лицу.
И песня,
и стих –
это бомба и знамя,
и голос певца
подымает класс,

и тот,
кто сегодня
поет не с нами,
тот –
против нас.
А тех,
кто под ноги атакующим бросится,
с дороги
уберет
рабочий пинок.
С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
народного артиста
красный венчик!
ну, что ж!
Раскрыл я
с тихим шорохом
глаза страниц...
И потянуло
порохом
от всех границ.
Не вновь,
которым за двадцать,
в грозе расти.
Нам не с чего
радоваться,
но нечего
грустить.
Бурна вода истории.
Угрозы
и войну
мы взрежем
на просторе,
как режет
киль волну.
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОДХАЛИМ
в любом учреждении
есть подхалим.
Живут подхалимы,
и неплохо им.
Подчас молодежи,
на них глядя,
хочется
устроиться –
как устроился дядя.
Но как
в доверие к начальству влезть?
Ответственного
не возьмешь на низкую лесть.
Например,
распахивать перед начальством
двери –
не к чему.
Начальство тебе не поверит,
не оценит
энергии
излишнюю трату –
подумает,
что это
ты –
по штату.
Или вот еще
способ
очень грубый:
трубить
начальству
в пионерские трубы.

Еще рассердится:

– Чего, мол, ради

ежесекундные

праздники

у нас

в отряде?

Надо

льстить

умело и тонко.

Но откуда

тонкость

у подростка и ребенка?!

И мы,

желанием помочь палимы,

выпускаем

«Руководство

для молодого подхалимы».

Например,

начальство

делает доклад –

выкладывает канцелярской премудрости

клад.

Стакан

ко рту

поднесет рукой

и опять

докладывает час-другой.

И вдруг

воплъ посредине доклада:

– Время

докладчику

ограничить надо! –

Тогда

ты,

сотрясая здание,

требуй:

– Слово

к порядку заседания!

Доклад –

звезда средь мрака и темени.

Требую

продолжать

без ограничения времени! –

И будь уверен –

за слова за эти

начальство запомнит тебя

и заметит.

Узнав,

что у начальства

сочинения есть,

спеши

печатный отчетишко прочесть.

При встрече

с начальством,

закатывая глазки,

скажи ему

голосом,

полным ласки:

– Прочел отчет.

Не отчет, а роман!

У вас

стихи бы

вышли задарма!

Скажите,

не вы ли

автор «Антидюринга»?

Тоже

написан

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
очень недурненько. –
Уверен будь –
за оценки за эти
и начальство
оценит тебя
и заметит.
Увидишь:
начальство
едет пьяненький
в казенной машине
и в дамской компанийке,
Пиши
в стенгазету,
возмущенный насквозь:
«Экономия экономии рознь.
Такую экономию –
высмейте смешком!
На что это похоже?!
Еле-еле
со службы
и на службу,
таскаясь пешком,
начканц
волочит свои портфели»,
И ты
преуспеешь на жизненной сцене –
начальство
заметит тебя
и оценит.
А если
не хотите
быть подхалимой,
сами
себе
не зажимайте рот:
увидев
безобразие,
не проходите мимо
и поступайте
не по стиху,
а наоборот.
КРЫМ
Хожу,
гляжу в окно ли я –
цветы
да небо синее,
то в нос тебе магнолия,
то в глаз тебе
глициния.
На молоко
сменил
чай
в сиянье
лунных чар.
И днем
и ночью
на Чаир
вода
бежит, рыча.
Под страшной
стражей
волн-борцов
глубины вод гноят
повыброшенных
из дворцов
тритонов и наяд.
А во дворцах
другая жизнь;

насытjась
водной блажью,
иди, рабочий,
и ложись
в кровать
великокняжью.
Пылают горы-горны,
и море синемлузится.
Людей
ремонт ускоренный
в огромной
крымской кузнице.
ТОВАРИЩ ИВАНОВ
Товарищ Иванов –
мужчина крепкий,
в штаты врос
покрепше репки.
Сидит
бессменно
у стула в оправе,
придерживаясь
на службе
следующих правил.
Подходит к телефону –
достоинство
складкой.
– Кто спрашивает?
– Товарищ тот –
И сразу
рот
в улыбке сладкой –
как будто
у него не рот, а торт.
Когда
начальство
рассказывает анекдот,
такой,
от которого
покраснел бы и дуб, –
Иванов смеется,
смеется, как никто,
хотя
от флюса
ноет зуб.
Спросишь мнение –
придет в смятеньце,
деликатно
отложит
до дня
до следующего,
а к следующему
узнаете
мненьце –
уважаемого
товарища заведующего.
Начальство
одно
смахнут, как пыльцу...
Какое
ему,
Иванову,
дело?
Он служит
так же
другому лицу,
его печенке,
улыбке,
телу.

Напялит
на себя
начальственную маску,
начальственные привычки,
начальственный
вид.
Начальство ласковое –
и он
ласков.
Начальство грубое –
и он грубит.
Увидя безобразие,
не протестует впустую.
Протест
замирает
в зубах тугих.
– Пускай, мол,
первыми
другие протестуют.
Что я, в самом деле,
лучше других? –
Тот –
уволен.
Этот –
сокращен.
Бессменно
одно
Ивановье рыльце.
Везде
и всюду
пролезет он,
подмыленный
скользким
подхалимским
мыльцем.
Впрочем,
написанное
ни для кого не ново –
разве нет
у вас
такого Иванова?
Кричу
благим
(а не просто) матом,
глядя
на подобные истории:
– Где я?
В лонах
красных наркоматов
или
в дооктябрьской консистории?!
ПОСМОТРИМ САМИ, ПОКАЖЕМ ИМ
Рабочий Москвы,
ты видишь
везде:
в котлах –
асфальтное варево,
стропилы,
стук
и дым весь день,
и цены
сползают товары.
Союз расцветет
у полей в оправе,
с годами
разделаем в рай его.
Мы землю
завоевали

и правим,
чистя ее
и отстраивая.
Буржуи
тоже,
в кулак не свистя,
чихают
на наши дымы.
Знают,
что несколько лет спустя –
мы –
будем непобедимы.
Открыта
шпане
буржуев казна,
хотят,
чтоб заводчик пас нас.
Со всех сторон,
гулка и грозна,
идет
на Советы
опасность.
Сегодня
советской силы показ:
в ответ
на гнев чемберленский
в секунду
наденем
противогаз,
штыки рассияем в блеске.
Не думай,
чтоб займами
нас одарили.
Храни
республику
на свои гроши.
В ответ Чемберленам
взлетай, эскадрилья,
винтами
вражье небо кроши!
Страна у нас
мягка и добра,
но землю Советов –
не трогайте:
тому,
кто свободу придет отобрать,
сумеет
остричь
когти.
ИВАН ИВАНОВИЧ ГОНОРАРЧИКОВ
(Заграничные газеты печатают
безымянный протест русских писателей.)
Писатель
Иван Иваныч Гонорарчиков
правительство
советское
обвиняет в том,
что живет-де писатель
запечатанным ларчиком
и владеет
замок
обцензуренным ртом.
Еле
преодолевая
пивную одурь,
напевает,
склонясь
головой соловой:

– О, дайте,
дайте мне свободу
слова. –
Я тоже
сделан
из писательского теста.
Действительно,
чего этой цензуре надо?
Присоединяю
голос
к писательскому протесту:
ознакомимся
с писательским
ларчиком-кладом!
Подойдем
к такому
демократично и ласково.
С чего начать?
Отодвинем
товарища
Лебедева-Полянского
и сорвем
с писательского рта
печать.
Руки вымоем
и вынем
содержимое.
В начале
ротика –
пара
советских анекдотиков.
Здесь же
сразу,
от слюней мокра,
гордая фраза:
– Я –
демократ! –
За ней –
другая,
длинней, чем глиста:
– Подайте
тридцать червонцев с листа! –
Что зуб –
то светоч.
Зубовная гниль
светит,
как светят
гнилушки-огни.
А когда
язык
приподняли робкий,
сидевший
в глотке
наподобие пробки,
вырвался
визг осатанелый:
– Ура Милюкову,
даешь Дарданеллы! –
И сразу
все заорали:
– Закройте-ка
недра
благоухающего ротика! –
Мы
цензурой
белые враки обводим,
чтоб никто
не мешал

словам о свободе.
Чем точить
демократические лясы,
обливаясь
чаями
до четвертого поту,
поможем
и словом
свободному классу,
силой
оберегающему
и строящему свободу.
И вдруг
мелькает
мысль-заря:
а может быть,
я
и рифмую зря?
Не эмигрант ли
грязный
из бороденки вшивой
вычесал
и этот
протестик фальшивый?!
ЧУДЕСА
Как днище бочки,
правильным диском
стояла
луна
над дворцом Ливадийским.
Взошла над землей
и пошла заливать ее,
и льется на море,
на мир,
на Ливадию.
В царевых дворцах –
мужики-санаторники.
Луна, как дура,
почти в исступлении,
глядят
глаза
блинорожия плоского
в афишу на стенах дворца:
«Во вторник
выступление
товарища Маяковского».
Сам самодержец,
здесь же,
рядом,
гонял по залам
и по бильярдам.
И вот,
где Романов
дулся с маркерами,
шары
ложе
под свитское ржание,
читаю я
крестьянам
о форме
стихов –
и о содержании.
Звонок.
Луна
отодвинулась тусклая,
и я,
в электричестве,
стою на эстраде.

Сидят предо мною
рязанские,
тульские,
почесывают бороды русские,
ерошат пальцами
русые пряди.
Их лица ясны,
яснее, чем блюдце,
где надо – хмурятся,
где надо –
смеются.
Пусть тот,
кто Советам
не знает цену,
со мною станет
от радости пьяным:
где можно
еще
читать во дворце –
что?
Стихи!
Кому?
Крестьянам!
Такую страну
и сравнивать не с чем, –
где еще
мыслимы
подобные вещи?!
И думаю я
обо всем,
как о чуде.
Такое настало,
а что еще будет!
Вижу:
выходят
после лекции
два мужика
слоновьей комплекции.
Уселись
вдвоем
под стеклянный шар,
и первый
второму
заметил:
– Мишка,
оченно хороша –
эта
последняя
была рифмишка. –
И долго еще
гудят ливадийцы
на желтых дорожках,
у синей водицы
МАРУСЯ ОТРАВИЛАСЬ
Вечером после работы этот комсомолец
уже не ваш товарищ. Вы не называйте
его Борей, а, подделываясь под
гнусавый французский акцент,
должны называть его «Боб»...
«Комс. правда».
В Ленинграде девушка-работница

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
отравилась, потому что у нее не было

лакированных туфель, точно таких же,
какие носила ее подруга Таня..

«Комс. правда».

Из тучки месяц вылез,
молоденький такой...
Маруся отравилась,
везут в прием-покой.
Понравился Марусяке
один
с недавних пор:
нафабранные усики,
Расчесанный пробор.
Он был
монтером Ваней,
но...
в духе парижан,
себе
присвоил званье:
«электротехник Жан».
Он говорил ей часто
одну и ту же речь:
– Ужасное мещанство –
невинность
зря
беречь. –
Сошлись и погуляли,
и хмурит
Жан
лицо, –
нашел он,
что
у Ляли
красивше бельецо.
Марусе разнесчастной
сказал, как джентльмен:
– Ужасное мещанство
семейный
этот
плен. –
Он с ней
расстался
ровно
через пятнадцать дней,
за то,
что лакированных
нет туфелек у ней.
На туфли
денег надо,
а денег
нет и так...
Себе
Маруся
яду
купила
на пятак.
Короткой
жизни
точка.
– Смер-тель-ный
я-яд
испит... –
В малиновом платочке
в гробу

Маруся
спит.
Развылся ветер гадкий.
На вечер,
ветру в лад,
в ячейке
об упадке
поставили
доклад.
Почему?

В сердце
без лесенки
лезут
эти песенки.
Где родина
этих
бездарных романсов?
Там,
где белые
лаются моською?
Нет!
Эту песню
родила масса –
наша
КОМСОМОВСКАЯ.
Легко
врага
продырявить наганом.
Или –
голову с плеч,
и саблю вытри.
А как
сейчас
нащупать врага нам?
Таится.
Хитрый!
Во что б ни обулись,
что б ни надели –
обноски
буржуев
у нас на теле.
И нет
тебе
пути-пряника.
Нашей
культуришке
без году неделя,
а ихней –
века!
И растут
черные
дурни
и дуры,
ничем не защищенные
от барахла культуры.
На улицу вышел –
глаза разопри!
В каждой витрине
буржуевы обноски:
какая-нибудь
шляпа
с пером «распри»,
и туфли
показывают
лакированные носики.
Простенькую
блузу нам

и надеть конфузно.
На улицах,
под руководством
Гарри Пилей,
расставило
сети
Совкино, –
от нашей
сегодняшней
трудной были
уносит
к жизни к иной.
Там
ни единого
ни Ваньки,
ни Пети,
одни
Жанны,
одни
Кэти.
Толча комплименты,
как воду в ступке,
люди
совершают
благородные поступки.
Все
бароны,
графы – все,
живут
по разным
роскошным городам,
ограбят
и скажут:
– Мерси, мусье, –
изнасилуют
и скажут:
– Пардон, мадам. –
На ленте
каждая –
графиня минимум.
Перо в шляпу
да серьги в уши.
Куда же
сравниться
с такими графинями
заводской
Феклуше да Марфуше?
И мальчишки
пачками
стреляют за нэпачками.
Нравятся
мальчишкам
в маникюре пальчики.
Играют
этим пальчиком
нэпачки
на рояльчике.
А сунешься в клуб –
речь рвотная.
Чешут
языками
чиновноустые.
Раз международное,
два международное.
но нельзя же до бесчувствия!
Напротив клуба
дверь пивнушки.
Веселье,

грохот,
как будто пушки!
Старается
разная
музыкальная челядь
пианинить
и виолончелить.
Входите, товарищи,
зайдите, подружечки,
выпейте,
пожалуйста,
по пенной кружечке!
что?

Крю
пиво пенное, –
только что вам
с этого?!
Что даю взамен я?
Что вам посоветовать?
Хорошо
и целоваться,
и вино.
Но...
вино и поэзия,
и если
ее
хоть раз
по-настоящему
испили рты,
ее
не заменит
никакое питье,
никакие пива,
никакие спирты.
Помни
ежедневно,
что ты
зодчий
и новых отношений
и новых любовей, –
и станет
ерундовым
любовный эпизодчик
какой-нибудь Любы
к любому Вове.
Можно и кепки,
можно и шляпы,
можно
и перчатки надеть на лапы.
Но нет
на свете
прекрасней одежды,
чем бронза мускулов
и свежесть кожи.
И если
подыметесь
чисты и стройны,
любую
одежу
заказывайте Москвошвею,
и...
лучшие
девушки
нашей страны
сами
бросятся
вам на шею.

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ,
как о том сообщается в N 219 «Комсомольской правды»
в стихе по имени «Свидание»

Слышал –
вас Молчанов бросил,
будто
он
предпринял это,
видя,
что у вас
под осень
нет
«изячного» жакета.
На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле:
– Что вы
ходите в косынке?
Да и...
мордой постарели?
Мне
пожалте
грудь тугую.
Ну,
а если
нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разызысканной жакетке. –
Припомадясь
и прикрасясь,
эту
гадость
вливши в стих,
хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм,
не достроил
и устал
и уселся
у моста.
Травка
выросла
у моста,
по мосту
идут овечки,
мы желаем
– очень просто! –
отдохнуть
у этой речки.
Заверните ваше знамя!
Перед нами
ясность вод,
в бок –

цветочки,
а над нами –
мирный-мирный небосвод.
Брошенная,
не бойтесь красивого слога
поэта,
музой венчанного!
Просто
и строго
ответьте
на лиру Молчанова:
– Прекратите ваши трели!
Я не знаю,
я стара ли,
но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали.
Знаю я –
в жакетах в этих
на Петровке
бабья банда.
Эти
польские жакетки
к нам
провозят
контрабандой.
Чем, служа
у муз
по найму,
на мое
тряпье
коситься,
вы б
индустриальным займом
помогли
рожденью
ситцев.
Череп,
што ль,
пустеет чаном,
выбил
мысли
грохот лирный?
Это где же
вы,
Молчанов,
небосвод
узрели
мирный?
В гущу
ваших роздыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?
Литературная шатия,
успокойте ваши нервы,
отойдите –
вы мешаете
мобилизациям и маневрам.
«МАССАМ НЕПОНЯТНО»
Между писателем

и читателем
стоят посредники,
и вкус
у посредника
самый средненький.
Этаких
средненьких
из посреднической рати
тыща
и в критиках
и в редакторате.
Куда бы
мысль твоя
ни скакала,
этот
все
озирает сонно:
– Я
человек
другого закала.
Помню, как сейчас,
в стихах
у Надсона...
Рабочий
не любит
строчек коротеньких.
А еще
посредников
кроет Асеев.
А знаки препинания?
Точка –
как родинка.
Вы
стих украшаете,
точки рассеяв.
Товарищ Маяковский,
писали б яблом,
двугривенный
на строчку
прибавил вам бы. –
Расскажет
несколько
средневековых легенд,
объяснение
часа на четыре затянет,
и ко всему
присказывает
унылый интеллигент:
– Вас
не понимают
рабочие и крестьяне. –
Сникает
автор
от сознания вины.
А этот самый
критик влиятельный
крестьянина
видел
только до войны,
при покупке
на даче
ножки телятины.
А рабочих
и того менее –
случайно
двух
во время наводнения.
Глядели

с моста
на места и картины,
на разлив,
на плывущие льдины.
Критик
обошел умиленно
двух представителей
из десяти миллионов.
Ничего особенного –
руки и груди...
Люди – как люди!
А вечером
за чаем
сидел и хвастал:
– Я вот
знаю
рабочий класс-то.
Я
душу
прочел
за их молчаньем –
ни упадка,
ни отчаяния.
Кто может
читаться
в таком классе?
Только Гоголь,
только классик.
А крестьянство?
Тоже.
Никак не иначе.
Как сейчас помню –
весною, на даче... –
Этакие разговорчики
у литераторов
у нас
часто
заменяют
знание масс.
И идут
дореволюционного образца
творения слова,
кисти
и резца.
И в массу
плывет
интеллигентский дар –
грёзы,
розы
и звон гитар.
Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высююкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую,
как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга –

и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ
Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
«Скучает
Молчанов Иван».
Не скрою, Ванечка!
скушно и нам.
И ваши стишонки –
скуки вина.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
ухватились
за чью-то косу.
Любите
и Машу
и косы ейные.
Это
ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
от бабы?!
Получше
стишки
писали хотя бы.
Но плох ваш роман.
И стих неказист.
Вот так
любил бы
любой гимназист.
Вы нам обещаете,
скушный Ваня,
на случай нужды
пойти, барабаня.
Де, будет
туман.
И отверзнете рот,
на весь
на туман
заорете:
– Вперед! –
Де,
– выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчики,
а я –
за вами. –
Орать
«Караул!»,
попавши в туман?
На это
не надо
большого ума.
Сегодняшний
день
возвеличить вам ли,
в хвосте
у событий
о девушках мямля?!
Поэт
настоящий
вздувает

заранее
из искры
неясной –
Стихотворения 1929–1930 годов
ПЕРЕКОПСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ!
Часто
сейчас
по улицам слышишь
разговорчики
в этом роде:
«Товарищи, легче,
товарищи, тише.
Это
вам
не 18-й годик!»
В нору
влезла
гражданка Кротиха,
в нору
влез
гражданин Крот.
Радуются:
«Живем ничего себе,
тихо.
Это
вам
не 18-й год!»
Дама
в шляпе рубликов на сто
кидает
кому-то,
запахивая котик:
«Не толкаться!
Но-но!
Без хамства!
Это
вам
не 18-й годик!»
Малого
мелочь
работой скосила.
В унынье
у малого
опущен рот...
«Куда, мол,
девать
молодецкие силы?
Это
нам
не 18-й год!»
Эти
потоки
слюнявого яда
часто
сейчас
по улице льются...
Знайте, граждане!
И в 29-м
длится
и ширится
Октябрьская революция.
Мы живем
приказом
октябрьской воли.
Огонь
«Авроры»
у нас во взоре.
И мы

обывателям
не позволим
баррикадные дни
чернить и позорить.
Года
не вымерить
по единой мерке.
Сегодня
равноценны
храбрость и разум.
Борись
и в мелочах
с баррикадной энергией,
в стройку
влей
перекопский энтузиазм.
МРАЧНОЕ О ЮМОРИСТАХ
Где вы,
бодрые задиры?
Крыть бы розгой!
Взять в слезу бы!
До чего же
наш сатирик
измельчал
и обеззубел!
Для подхода
для такого
мало,
што ли,
жизнь дрянна?
Для такого
Салтыкова –
Салтыкова-Щедрина?
Заголовком
жирно-алым
мозжечок
прикрывши
тощий,
ходят
тихо
по журналам
дореформенные тещи.
Саранчой
улыбки выев,
ходят
нэпманам на страх
анекдоты гробовые –
гроб
о фининспекторах.
Или,
злостью измусоля
сотню
строк
в бумажный крах,
пишут
про свои мозоли
от зажатья в цензорах.
Дескать,
в самом лучшем стиле,
будто
розы на заре,
лепестки
пораспустили б
мы
без этих цензоров.
А поди
сними рогатки –
этаких

писцов стада
пару
анекдотов гадких
ткнут –
и снова пустота.
Цензоров
обвыли воем.
Я ж
другую
мыслью ранен:
жалко бедных,
каково им
от прочтения
столькой дряни?
Обличитель,
меньше крему,
очень
темы
хороши.
О хорошенькую тему
зуб
не жалко искрошить.
Дураков
больших
обдумав,
взяли б
в лапы
лупы вы.
Мало, што ли,
помпадуров?
Мало –
градов Глуповых?
Припаси
на зубе
яд,
в километр
жало вызьмей
против всех,
кто зря
сидят
на труде,
на коммунизме!
Чтоб не скрылись,
хвост упрятав,
крупных
вылови налимов –
кулаков
и бюрократов,
дураков
и подхалимов.
Измельчал
и обеззубел,
обэстетился сатирик.
Крыть бы в розги,
взять в слезу бы!
Где вы,
бодрые задиры?
УРОЖАЙНЫЙ МАРШ
Добьемся урожая мы –
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
Чтоб даром не потели мы
по одному,
по два –

колхозами,
артелями
объединись, братва.
Земля у нас хорошая,
землица неплоха,
да надобно
под рожь ее
заранее вспахать.
Чем жить, зубами щелкая
в голодные года,
с проклятою
с трехполкою
покончим навсегда.
Вредителю мы
начисто
готовим карачун.
Сметем с полей
кулачество,
сорняк
и саранчу.
Разроем складов завали.
От всех
ответа ждем, –
чтоб тракторы
не ржавели
впустую под дождем.
Поля
пройдут науку
под ветром-игруном...
Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!
Земля
не хочет более
терпеть
плохой уход, –
готовься,
комсомолия,
в передовой поход.
Кончай
с деревней серенькой,
вставай,
который сер!
Вперегонки
с Америкой
иди, СССР!
Добьемся урожая мы –
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
ДУША ОБЩЕСТВА
Из года в год
легенда тянется –
легенда
тянется
из века в век:
что человек, мол,
который пьяница, –
разувлекательнейший человек.
Сквозь призму водки,
мол,
все – красотки...
Любая
гадина –
распривлекательна.

У машины
общества
поразвинтились гайки –
люди
лижут
довоенного лютей.
Скольким
заменяли
водочные спайки
все
другие
способы
общения людей?!
Если
муж
жену
истаскивает за волосы –
понимай, мол,
я
в семействе барин! –
это значит,
водки нализался
ЭТОТ
милый,
увлекательнейший парень.
Если
парень
в сногшибательнейшем раже
доставляет
скорой помощи
калек –
ясно мне,
что пивом взбудоражен
ЭТОТ
милый,
увлекательнейший человек.
Если
парень,
запустивши лапу в кассу,
удостаивает
сам себя
и премий и наград –
значит,
был привержен
не к воде и квасу
ЭТОТ
милый,
увлекательнейший казнокрад.
И преступления
всех систем,
и хрип хулигана,
и пятна быта
сегодня
измеришь
только тем –
сколько
пива
и водки напито.
Про пьяниц
много
пропето разного, –
из пьяных пеней
запомни только:
беги от ада
от заразного,
тащи
из яда
алкоголика.

КАНДИДАТ ИЗ ПАРТИИ
Сколько их?
Числа им нету.
Пяля блузы,
пяля френчи,
завели по кабинету
и несут
повинность эту
сквозь заученные речи.
Весь
в партийных причиндалах,
ноздри вздернул –
крыши выше...
Есть бумажки –
прочитал их,
нет бумажек –
сам напишет.
Все
у этих
в порядке,
не язык,
а маслобой...
Служит
и играет в прятки
с партией,
с самим собой.
С классом связь?
Какой уж класс там!
Классу он –
одна помеха.
Стал
стотысячным балластом.
Ни пройти с ним,
ни проехать.
Вышел
из бойцов
с годами
в лакированные душки...
День пройдет –
знакомой даме
хвост
накрутит по вертушке.
Освободиться бы
от ихней братии,
удобней будет
и им
и партии.
ВОНЗАЙ САМОКРИТИКУ!
Наш труд
сверкает на «Гиганте»,
сухую степь
хлебами радуя.
Наш труд
блестит.
Куда ни гляньте,
встает
фабричную оградою.
Но от пятна
и солнца блеск
не смог
застраховаться, –
то ляпнет
нам
пятно
Смоленск,
то ляпнут
астраханцы.
Болезнь такая

глубока,
не жди,
газеты пока
статейным
гноем вытекут, –
ножом хирурга
в бока
вонзай самокритику!
Не на год,
не для видика
такая
критика.
Не нам
критиковать крича
для спорта
горластого,
нет,
наша критика –
рычаг
и жизни
и хозяйства.
Страна Советов,
чисть себя –
нутро и тело,
чтоб, чистотой
своей
блестя,
республика глядела.
Чтоб не шатать
левой,
правей
домину коммунизма,
шатающихся
проверь
своим
рабочим низом.
Где дурь,
где белых западня,
где зава
окружит родня –
вытравливай
от дня до дня
то ласкою,
то плетью,
чтоб быстро бы
страну
поднять,
идя
по пятилетью.
Нам
критика
из года в год
нужна,
запомните,
как человеку –
кислород,
как чистый воздух –
комнате.
НА ЗАПАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО
Как совесть голубя,
чист асфальт.
Как лысина банкира,
тротуара плиты
(после того,
как трупы
на грузовозы взвалют
и кровь отмывают
от плит политых).

В бульварах
буржуеныши,
под нянин сказ,
медведям
игрушечным
глядят плюшки
(после того,
как баллоны
заполнил газ
и в полночь
прогрохали
к Польше
пушки).
Миротворцы
сияют
цилиндровым глянцем,
мозолят язык,
состязаясь с мечом
(после того,
как посланы
винтовки афганцам,
а бомбы –
басмачам).
Сидят
по кафе
гусары спешенные.
Пехота
развлекается
в штатской лени.
А под этой
идиллией –
взлихораденно-бешеные
военные
приготовления.
Кровавых капель
пунктирный путь
ползет по земле, –
недаром кругла!
Кто-нибудь
кого-нибудь
подстреливает
из-за угла.
Целят –
в сердце.
В самую точку.
Одно
стрельбы командирам
надо –
бунтовщиков
смирив в одиночку,
погнать
на бойню
баранье стадо.
Сегодня
кровишка
мелких стычек,
а завтра
в толпы
танки тыча,
кровищи
вкус
война поймет, –
пойдет
хлестать
с бронированных птичек
железа
и газа
кровавый помет.

Смотри,
выступает
из близких лет,
костьми постукивает
лошадь-краса.
На ней
войны
пожелтый скелет,
и сталью
синеет
смерти коса.
Мы,
излюбленное
пушечное лакомство,
мы,
оптовые потребители
костылей
и протез,
мы
выйдем на улицу,
мы
1 августа
аж к небу
гвоздями
прибьем протест.
Долой
политику
пороховых бочек!
Довольно
дома
пугливо щуплиться!
От первой республики
крестьян и рабочих
отбросим
войны
штыкастые щупальцы.
Мы
требуем мира.
Но если
тронете,
мы
в роты сожмемся,
сжавши рот.
Зачинщики бойни
увидят
на фронте
один
восставший
рабочий фронт.
ПАРИЖАНКА
Вы себе представляете
парижских женщин
с шеей разжемчуженной,
разбриллиантенной
рукой...
Бросьте представлять себе!
Жизнь –
жестче –
у моей парижанки
вид другой.
Не знаю, право,
молода
или стара она,
до желтизны
отшлифованная
в лощеном хамье.
Служит
она

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
в уборной ресторана –
маленького ресторана –
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.
Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.
Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопея,
за пятьдесят сантимов!
(По курсу червонца
с мужчины
около
четырёх копеек.)
Под умывальником
ладони омывая,
дыша
диковиной
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумевая,
хочу
сказать
мадмуазели:
– Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.
На уборную молодость
губить не жалко вам?
Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.
Чулки шерстяные...
Почему не шелка?
Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька? –
Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,
на потолок,

на нас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел Монпарнас.
Простите, пожалуйста,
за стих раскрежещенный
и
за описанные
вонючие лужи,
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.
КРАСАВИЦЫ
(Раздумье на открытии Grand Opera[20])

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте –
красавка на красавице.
Размяк характер –
все мне
нравится.
Талии –
кубки.
Ногти –
в глянце.
Крашенные губки
розой убиганяются.
Ретушь –
у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
из газа
цвета лососиньего.
Упадая
с высоты,
пол
метут
шлейфы.
От такой
красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет –
в брильянтах уши.
Пошевелится шаля –
на грудишке
ряд жемчужин
обнажают
шиншиля.
Платье –
пухом.
Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,

только
облако жоржет.
Брошки – блещут...
на тебе! –
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.
СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ
я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам –
улыбка у рта.
К другим –
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброе дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский –
глядят,
как в афишу коза.
На польский –
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости –
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих

шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет –
как бомбу,
берет –
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслаждением
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я –
гражданин
Советского Союза.
АМЕРИКАНЦЫ УДИВЛЯЮТСЯ
Обмерев,
с далекого берега
СССР
глазами выев,
привстав на цыпочки,

смотрит Америка,
не мигая,
в очки роговые.
Что это за люди
породы редкой
копшатся стройкой
там,
поодаль?
Пофантазировали
с какой-то пятилеткой...
А теперь
выполняют
в 4 года!
К таким
не подойдешь
с американской меркою.
Их не соблазняют
ни долларом,
ни гривною,
и они
во всю
человечью энергию
круглую
неделю
дуют в непрерывную.
Что это за люди?
Какая закалка!
Кто их
так
в работу вклинил?
Их
не гонит
никакая палка –
а они
сжимаются
в стальной дисциплине!
Мистеры,
у вас
практикуется исстари
деньгой
окупать
строительный норов.
Вы
не поймете,
пухлые мистеры,
корни
рвения
наших коммунаров.
Буржуи,
дивитесь
коммунистическому берегу –
на работе,
в аэроплане,
в вагоне
вашу
быстроногую
знаменитую Америку
мы
и догоним
и перегоним.
ПРИМЕР, НЕ ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ
Тем, кто поговорили и бросили
Все –
в ораторском таланте.
Пьянке –
смерть без колебания.
Это
заседает

анти –
алкогольная компания.
Кулаком
наотмашь
в грудь
бьют
себя
часами кряду.
«Чтобы я?
да как-нибудь?
да выпил бы
такого яду?!»
Пиво –
сгинь,
и водка сгинь!
Будет
сей порок
излечен.
Уменьшает
он
мозги,
увеличивая
печень.
Обсудив
и вглубь
и вдоль,
вырешили
все
до толики:
де –
ужасен алкоголь,
и –
ужасны алкоголики.
Испершив
речами
глотки,
сделали
из прений
вывод,
что ужасный
вред
от водки
и ужасный
вред от пива...
Успокоившись на том,
выпив
чаю
10 порций,
бодро
вылезли
гуртом
яростные
водкоборцы.
Фонарей
горят
шары,
в галдеже
кабачный улей,
и для тени
от жары
водкоборцы
завернули...
Алкоголики, –
воспряньте!
Неуместна
ваша паника!
Гляньте –
пиво хлещет

анти –
алкогольная компания.
ПТИЧКА БОЖИЯ
Он вошел,
склонясь учтиво.
Руку жму.
– Товарищ –
сядьте!
Что вам дать?
Автограф?
Чтиво!»
– Нет.
Мерси вас.
Я –
писатель.
– Вы?
Писатель?
Извините.
Думал –
вы пижон.
А вы...
Что ж,
прочтите,
зазвоните
грозным
маршем
боевым.
Вихрь идей
у вас,
должно быть.
Новостей
у вас
вагон.
Что ж,
пожалте в уха в оба.
Рад товарищу. –
А он:
– Я писатель.
Не прозаик.
Нет.
Я с музами в связи. –
Слог
изыскан, как борзая.
Сконапель
ля поэзи.
На затылок
нежным жестом
он
кудрей
закинул шелк,
стал
барашком златошерстым
и заблеял,
и пошел.
Что луна, мол,
над долиной,
мчит
ручей, мол,
по ущелью.
Тинтидликал
мандолиной,
дундудел виолончелью.
Нимб
обвил
волосьев копны.
Лоб
горел от благородства.
Я терпел,

терпел
и лопнул
и ударил
лапой
об стол.
– Попрошу вас
покороче.
Бросьте вы
поэта корчить!
Посмотрю
с лица ли,
сзади ль,
вы тюльпан,
а не писатель.
Вы,
над облаками рея,
птица
в человечесий рост.
Вы, мусье,
из канареек,
чижик вы, мусье,
и дрозд.
В испытанье
битв
и бед
с вами,
што ли,
мы
полезем?
В наше время
тот –
поэт.
тот –
писатель,
кто полезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь –
хлебов подвозу.
В наши дни
писатель тот,
кто напишет
марш
и лозунг!
СТИХИ О ФОМЕ
Мы строим коммуны,
и жизнь
сама
трубит
наступающей эре.
Но между нами
ходит
фома,
и он
ни во что не верит.
Наставь
ему
достижений любых
на каждый
вкус
и вид,
он лишь
тебе
половину губы
на достиженья –
скривит.
Идем
на завод
отстроенный

мы –
смирись
перед ликом
факта.
Но скептик
смотрит
глазами фомы:
– Нет, что-то
не верится как-то. –
Покажешь
фомам
вознесенный дом
и ткнешь их
и в окна,
и в двери.
Ничем
не расцветятся
лица у фом.
Взглянут –
и вздохнут:
«Не верим!»
Послушайте,
вы,
товарищ фома!
У вас
повадка плохая.
Не надо
очень
большого ума,
чтоб все
отвергать
и хаять.
И толк
от похвал,
разумеется, мал.
Но слушай,
фомина шатия!
Уж мы
обойдемся
без ваших похвал –
вы только
труду не мешайте.
я СЧАСТЛИВ!
Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
стихами
хотя бы
поделиться,
я
сегодня
дышу как слон,
походка
моя
легка,
и ночь
пронеслась,
как чудесный сон,
без единого
кашля и плевка.
Неизмеримо
выросли
удовольствий дозы.

Дни осени –
баней воняют,
а мне
цветут,
извините, –
розы,
и я их,
представьте,
обоняю.
И мысли
и рифмы
покрасивели
и особенные,
аж вытаращит
глаза
редактор.
Стал вынослив
и работоспособен,
как лошадь
или даже –
трактор.
Бюджет
и желудок
абсолютно превосходен,
укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе –
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта –
такой
установился
феерический вкус
в благоуханных
апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.
В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный
весельчак и остряк –
ну просто –
душа общества.
Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы

и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?
Открыть?
или...
не открывать?
Граждане,
вы
утомились от жданья,
готовы
корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю:
граждане –
я
сегодня –
бросил курить.
РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА
К этому месту будет подвезено в

пятилетку 1 000 090 вагонов

строительных материалов. Здесь будет
гигант металлургии, угольный гигант и
город в сотни тысяч людей.

Из разговора.

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старую
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Свела
промозглость

корчею –
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода –
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный
«Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над тенью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно –
«город-сад».
Я знаю –
город
будет,
я знаю –
саду
цвествь,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросы,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.
А сбоку
ходят
индивидуумы,
а у них
мнение обо всем
особое.
Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидуум в ответ:
«А я
остаюсь
при моем,
особом мненьице».
Мы выполним
пятилетку,
мартены воспламеня,
не в пять годов,
а в меньше,
но индивидуум
не верит:
«А у меня
имеется, мол,
особое мненьице».
В индустриализацию
льем заем,
а индивидуум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.
Колхозим
хозяйства
бедняцких масс,
кулацкой
не спугнуты
злобою,
а индивидуумы
шепчут:
«У нас
мнение
имеется
особое».
Субботниками
бьет
рабочий мир
по неразгруженным
картофелям и поленьям,
а индивидуумы
нам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум,
прикосновением
ничьим

не попортив,
но тех,
кто в работу
впрягся разом, –
не оттягивайте
в сторонку
и напротив.
Трясина
старья
для нас не годна –
ее
машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья, –
и у нас
и у массы
и мысль одна
и одна
генеральная линия.
ДАЕШЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ!
Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вымеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.
«Мне, товарищи,
этажи не в этажи –
мне
удобства подай.
Мне, товарищи,
хочется жить
не хуже,
чем жили господа.
Я вам, товарищи,
не дрозд
и не синица,
мне
и без этого
делов массу.
Я, товарищи,
хочу возноситься,
как подобает
господствующему классу.
Я, товарищи,
из нищих вышел,
мне
надоело
в грязи побираться.
Мне бы, товарищи,
жить повыше,
у самых
солнечных
протуберанцев.
Мы, товарищи,
не лошади
и не дети –
скакать
на шестой,
поклажу взвалив?!
Словом, –
во-первых,
во-вторых,
и в-третьих, –

мне
подавайте лифт.
А вместо этого лифта
мне –
прыгать –
работа трехпоя!
Черным углем
на белой стене
выведено криво:
«Лифт
НЕ
работает».
Вот так же
и многое
противно глазу. –
Примуса, например?!
Дорогу газу!
Поработав,
желаю
помыться сразу.
Бегай –
лифт-мошенник!
Словом,
давайте
материальную базу
для новых
социалистических отношений».
Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вымев.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных
при социализме.
ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ
Он любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
«Тс-с, господа,
я знаю –
у них
какие-то затрудненьица».
В газету
хихикает,
над цифрой трунив:
«Переборщили,
замашинив денежки.
Тс-с, господа,
порадуйтесь –
у них
«какие-то
такие затрудненьишки».
Усы
закручивает,
весел и лих:
«У них
заухудшился день еще.
Тс-с, господа,
подождем –
у них
теперь
огромные затрудненьица».
Собрав
шептунов,
врунов

и вруних,
переговаривается
орава:
«Тс-с-с, господа,
говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!»
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,
переходит
от веселия
к грусти.
На перспективах
живо
наживается он –
он
своего не упустит.
Своего не упустит он,
но зато
у другого
выгрызет лишек,
не упустит
уоставиться
в сто задов
любой
из очередишек.
И вылезем лишь
из грязи
и тьмы –
он первый
придет, нахален,
и, выпятив грудь,
раззаявит:
«Мы
аж на тракторах –
пахали!»
Республика
одолеет
хозяйства несчастья,
догонит
наган
врага.
Счищай
с путей
завшивевших в мещанстве,
путающихся
у нас
в ногах!
МАРШ УДАРНЫХ БРИГАД
Вперед
тракторами по целине!
Домны
коммуне
подступом!
Сегодня
бейся, революционер,
на баррикадах
производства.
Раздувай
коллективную
грудь-меха,
лозунг
мчи
по рабочим взводам.
От ударных бригад
к ударным цехам,

от цехов
к ударным заводам.
Вперед,
в египетскую
русскую темь,
как
гвозди,
вбивай
лампы!
Шаг держи!
Не теряй темп!
Перегнать
пятилетку
нам бы.
Распрабабкиной техники
скидывай хлам.
Днепр,
турбины
верти по заводьям.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед!
Коммуну
из времени
вод
не выловишь
золото-рыбкою.
Накручивай,
наворачивай ход
без праздников –
непрерывкою.
Трактор
туда,
где корпела соха,
хлеб
штурмуй
колхозным
походом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Вперед
беспрогульным
гигантским ходом!
Не взять нас
буржуевым гончим!
Вперед!
Пятилетку
в четыре года
выполним,
вымчим,
закончим.
Электричество
лей,
река-лиха!
Двигай фабрики
фырком зловодым.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов
к ударным заводам.
Энтузиазм,
разрастайся и длись
фабричным
сиянием радужным.

Сейчас
подымается социализм
живым,
настоящим,
правдошним.
Этот лозунг
неси
бряцаньем стиха,
размалюй
плакатным разводом.
От ударных бригад
к ударным цехам,
от цехов –
к ударным заводам.
ЛЕНИНЦЫ
Если
блокада
нас не сморила,
если
не сожрала
война горяча –
это потому,
что примером,
мерилом
было
слово
и мысль Ильича.
– Вперед
за республику
лавой атак!
На первый
военный клич! –
Так
велел
защищаться
Ильич.
Втрое,
каждый
станок и верстак,
работу
свою
увеличь!
Так
велел
работать
Ильич.
Наполним
нефтью
республики бак!
Уголь,
расти от добыч!
Так
работать
велел Ильич.
«Снижай себестоимость,
выведи брак!» –
Гудков
вызывает
зыч, –
так
работать
звал Ильич.
Комбайном
на общую землю наляг.
Огнем
пустыри расфабричь!
Так
Советам

велел Ильич.
Сжимай экономией
каждый пятак.
Траты
учись стричь, –
так
хозяйничать
звал Ильич.
Огнями ламп
просверливай мрак,
республику
разэлектричь, –
так
велел
рассветиться
Ильич.
Религия – опиум,
религия – враг,
довольно
поповских притч, –
так
жить
велел Ильич.
Достань
бюрократа
под кипой бумаг,
рабочей
ярости
бич, –
так
бороться
велел Ильич.
Не береги
от критики
лак,
чин
в оправданье
не тычь, –
так
велел
держаться
Ильич.
«Слева»
не рви
коммунизма флаг,
справа
в унынье не хнычь, –
так
идти
наказал Ильич.
Намордник фашистам!
Довольно
собак
спускать
на рабочую «дичь»!
Так
велел
наступать Ильич.
Не хнычем,
а торжествуем
и чествуем.
Ленин с нами,
бессмертен и величав,
по всей вселенной
ширится шествие –
мыслей,
слов
и дел Ильича.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое вступление в поэму

Уважаемые

товарищи потомки!

Роясь

в сегодняшнем

окаменевшем г... ,

наших дней изучая потемки,

вы,

возможно,

спросите и обо мне.

И, возможно, скажет

ваш ученый,

кроя эрудицией

вопросов рой,

что жил-де такой

певец кипяченой

и ярый враг воды сырой.

Профессор,

снимите очки-велосипед!

Я сам расскажу

о времени

и о себе.

Я, ассенизатор

и водовоз,

революцией

мобилизованный и призванный,

ушел на фронт

из барских садоводств

поэзии –

бабы капризной.

Засадила садик мило,

дочка,

дача,

воду

и гладь –

сама садик я садила,

сама буду поливать.

Кто стихами льет из лейки,

кто кропит,

набравши в рот –

кудреватые Митрейки,

мудреватые Кудрейки –

кто их, к черту, разберет!

Нет на прорву карантина –

мандолинят из под стен:

«Тара-тина, тара-тина,

т-эн-н...»

Неважная честь,

чтоб из этаких роз

мои изваяния высились

по скверам,

где харкает туберкулез,

где б... с хулиганом да сифилис.

И мне

агитпроп

в зубах навяз,

и мне бы строчить

романсы на вас –

доходней оно

и прелестней.

Но я

себя

смирял,

становясь

на горло

собственной песне.

Слушайте,

товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так, –
не как стрела
в амурно-лировой охоте.
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,

застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг –
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетется слава
в похоронном марше –
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою –
ведь мы свои же люди, –
пускай нам
общим памятником будет
Построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,

«туберкулез»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки,
ПОЭТ
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идуших
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
МОИХ
партийных книжек.
Лозунги 1929–1930 годов
САНПЛАКАТ
1
Убирайте комнату,
чтоб она блестела. В чистой комнате
чистое тело.
2
Воды
не бойся,
ежедневно мойся.
3
Зубы
чисть дважды, каждое утро
и вечер каждый.
4
Куриль
бросим. Яд в папиресе.
5
То, что брали чужие рты,
в свой рот не бери ты.
6
Ежедневно
обувь и платье
чисть и очищай
от грязи и пятен.
7
Культурная привычка,
приобрети ее
Ходи еженедельно в баню

и меняй белье.

8

Долой рукопожатия!
Без рукопожатий встречайте друг друга
и провожайте.

9

Проветрите комнаты,
форточки открывайте перед тем
как лечь
в свои кровати.

10

Не пейте
спиртных напитков. Пьющему – яд,
окружающим – пытка.

11

Затхлым воздухом
жизнь режем. Товарищи,
отдыхайте
на воздухе свежем.

12

Товарищи люди,
на пол не плюйте.

13

Не вытирайся
полотенцем чужим, могли
и больные
пользоваться им.

14

Запомните –
надо спать
в проветренной комнате.

15

Будь аккуратен,
забудь лень,
чисть зубы
каждый день.

16

На улице были?
Одежду и обувь очистьте от пыли.

17

Мойте окна,
запомните это,
Окна – источник
жизни и света.

18

Товарищи,
мылом и водой мойте руки
перед едой.

19

Запомните вы,
запомни ты пищу приняв,
полощите рты.

20

Грязь
в желудок
идет с едой, мойте
посуду
горячей водой.

21

Фрукты
и овощи
перед
едой мойте
горячей водой.

22

Нельзя человека
закупорить в ящик,
жилище проветривай

лучше и чаще.

23

Вытрите ноги!!!
забыли разве,
несете с улицы
разную грязь вы.

24

Хоть раз в неделю,
придя домой,
горячей водой
полы помой.

25

Болезнь и грязь
проникают всюду.
Держи в чистоте
свою посуду.

26

Во фруктах и овощах
питательности масса.
Ешьте больше зелени
и меньше мяса.

27

Лишних вещей
не держи в жилище станет сразу
просторней и чище.

28

Чадят примуса,
хозяйки, запомните:
нельзя
обед

готовить

в комнате.

29

Держите чище свое жилище.

30

Каждое жилище
каждый житель помещения
в сохранности держите.

31

Товарищ!

да приучись ты
держат жилище
опрятным и чистым.

32

С одежды грязь
доставляется на дом.
Одетому лежать
на кровати не надо.

33

Хозяйка,
помни о правиле важном:
Мети жилище
способом влажным.

34

Раз в неделю,
никак не реже,
белье постельное
меняй на свежее.

35

Не стирайте в комнате,
могут от сырости грибы и мокрицы
в комнате вырасти.

Лозунги по безопасности труда

1

Товарищи,
бросьте раскидывать гвозди! Гвозди
многим испортили ноги.

2

Не оставляй
на лестнице
инструменты и вещи. Падают
и ранят
молотки и клещи.

3
Работай
только
на прочной лестнице. Убьешься,
если
лестница треснет.

4
Месим руками
сталь, а не тесто, храни
в порядке
рабочее место. Нужную вещь
в беспорядке ищешь, никак не найдешь
и ранишь ручища.

5
Пуская машину,
для безопасности
надо предупредить товарища,
работающего рядом.

6
На работе
волосы
прячьте лучше: от распущенных волос
несчастный случай.

7
Электрический ток
рабочего настиг. Как
от смерти
рабочего спасти? Немедленно
еще до прихода врача надо
искусственное дыхание начать.

8
Нанесем
безалаберности удар, образуем
побахвалиться охочих. Дело
безопасности труда дело
самых рабочих.
Лозунги для журнала «Даешь»

1
Кузница коммунизма,
раздувай меха! Множитесь,
энтузиастов
трудовые взводы: за ударными бригадами
ударные цеха, за ударными цехами
ударные заводы!

2
Нефть
не добудешь
из воздуха и ветра. Умей
сочетать
практику и разум. Пролетарий,
д а е ш ь
земным недрам новейшую технику
и социалистический энтузиазм.

3
Верхоглядство
брось! «Д а е ш ь»
совет знать
насквозь свой
завод!
Кто стоит за станком?
Как работает рабочий?
Чем живут рабочие?
Какие интересы у рабочих?

4

Профессорская братия
вроде Ольденбургов князьям
служить
и сегодня рада. То,
что годилось
для царских Петербургов, мы вырвем
с корнем
из красных Ленинградов.

5

Чтоб фронт отстоять,
белобанды гоня, пролетариат
в двадцатом
сел на коня. Чтоб видеть коммуны,
растветшую в быль, садись в двадцать девятом
на трактор
и автомобиль.
Лозунги «Трудовая дисциплина» и «Агитационно-производственные»

1

Из-за неполадок на заводе несознательный рабочий
драку заводит. Долой
с предприятий
кулачные бои! Суд разберет
обиды твои.

2

Притеснения на заводе
и беспорядок всякий выясняй в месткоме,
а не заводи драки.

3

Опытные рабочие,
не издевайтесь
над молодыми.
Молодого рабочего
обучим и подыдем.

4

Долой
безобразников
по женской линии.
Парней-жеребцов
зажмем в дисциплине.

5

Антисемиту
не место у нас все должны
работой сравняться. У нас
один рабочий класс и нет
никаких наций.

6

Хорошего спеца
производство заботит. Товарищ
спецу
помоги в работе.

7

Надо
квалификацию
поднять рабочему. Каждый спец
обязан помочь ему.

8

Не спи на работе!
Работник этакий может продряхнуть
все пятилетки.

9

Долой того,
кто на заводе частную мастерскую
себе заводит.

10

Заводы – наши.
Долой кражи! У наших заводов
встанем на страже.

11

Болтливость
растрата
рабочих часов! В рабочее время
язык на засов!

12

Прогульщика-богомольца
выгони вон! Не меняй гудок
на колокольный звон!

13

Долой пьянчуг!
С пьянчугой с таким перержавеют
и станут станки.

14

В маленьком стакане,
в этом вот, может утонуть
огромный завод.
Из рабочей гущи выгоним пьющих.

15

Разгильдяев
с производства гони.
Наши машины
портят они.

16

Чтоб работа шла
продуктивно и гладко,
выполняй правила
внутреннего распорядка.

17

Перед машиной
храбриться нечего следи
за безопасностью
труда человеческого.

18

В общей работе
к дисциплине привыкни.
Симулянта
разоблачи
и выкинь.

19

Не опаздывай
ни на минуту.
Злостных
вон! Минуты сложатся
убытку миллион.

20

Долой хулиганов!
Один безобразник портит всем
и работу
и праздник.

21

Непорядки
надо
разбирать по праву, долой с предприятий
кулачную расправу.

22

Каждый
должен
помочь стараться техническому персоналу
и администрации.

23

Не издевайся на заводе
над тем, кто слаб,
Оберегайте слабого
от хулиганских лап.

24

Вызов за вызовом,
по заводам лети!

Сочинения. Владимир Владимирович Маяковский mayakovskyyvladimir.ru
Вступай в соревнование,
за коллективом коллектив!
Встают заводы,
сильны и стройны.
Рабочий океан
всколыхнулся низом.
Пятилетка
это рост
благосостояния страны.
Это пять километров
по пути в коммунизм.
25
Хулиганство на производстве
наносит удар всей дисциплине
нашего труда.
26
Больше дела!
Меньше фраз

Электронная книга издана «Мультимедийным Издательством Стрельбицкого», г. Киев.
С нашими изданиями электронных и аудиокниг Вы можете познакомиться на сайте
www.audio-book.com.ua. Желаем приятного чтения! Пишите нам: audio-book@ukr.net

Примечания

1

Nihil (лат.) – ничто

2

В Вифлееме, по евангельскому преданию, родился Иисус Христос. В момент его рождения над ним загорелась звезда – небесное знамение.

3

Брэм, Альфред (1829–1884) – немецкий зоолог.

4

Локк, Вильям (1863–1930) – английский писатель, автор сентиментальных, развлекательных романов.

5

Абрам Васильевич – А. В. Евнин, знакомый Маяковского.

6

Перефразируя строки из стихотворения И. Северянина «Тиана», Маяковский издевается над салонно-мещанской тематикой его произведений.

7

На улице Жуковского в Петрограде в стене одного дома была ниша, и в ней – лепная голова лошади.

8

Площадь Согласия (франц.)

9

Здравствуйте (англ.).

10

Прощайте (англ.).

11

Муша – рабочий (груз.)

12

Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (груз.)

13

Мадчари – неперебродившее молодое вино (груз.)

14

Кинто – бродячий торговец, балагур, озорник (груз.)

15

Шаири – стихотворная строфа (груз.)

16

Как поживаете, дорогой товарищ Верлен? (фр.)

17

Да здравствуют Советы!.. Долой войну!.. Долой капитализм! (фр.)

18

Официант, прог по-американски! (фр.)

19

Положение обязывает (фр. noblesse oblige).

20 Большого оперного театра (фр.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://mayakovskylvladimir.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!